

I715481

КОМПОЗИЦИОННЫЕ
ЭКСПРИМЕНТЫ

КР.
МОЛ



Вл. Жепеңзяк

РДАНОС

Бл. Железняк

Роднє



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

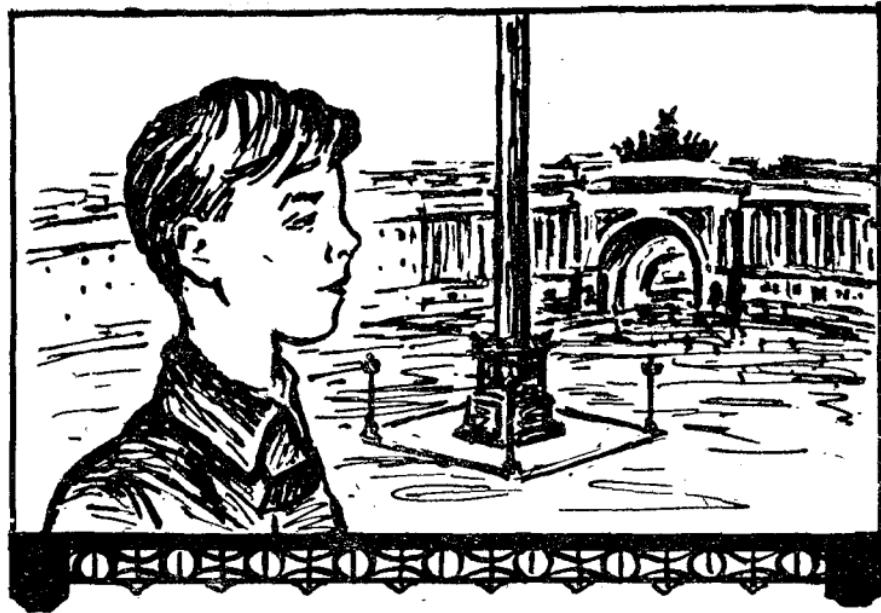
1972



ПЕРВЫЕ повести В. С. Железняка «Она с Востока» и «Пассажиры разных поездов» появились в начале тридцатых годов в московских сборниках т-ва писателей «Недра». С 1936 г. он живет в Вологде, сотрудничает в музее и творческой организации художников, изучает историю и искусство Севера, работает над материалами о В. В. Верещагине и Ф. М. Достоевском, печатается в местной и центральной прессе. Отдельными изданиями вышли «Повесть о творчестве» (1956), «Вологда» (1963), «Художник Верещагин» (1967), «Отзвеневшие шаги» (1968).

В сборнике «Родное» рассказывается о знаменитых и забытых земляках, о прошлом родного края, включены три новеллы о Ф. М. Достоевском.

Обложка, титул и заставки Н. В. ЖЕЛЕЗНЯК



ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

ПЕТРОГРАД. Влажный октябрьский ветер треплет на заборах, столбах, домах свежие, пахнущие типографской краской военные сводки: «Нашими частями оставлена Гатчина».

Мне четырнадцать лет, я худ, бледен, очень слаб, даже тяжело ходить. Мне и матери не хватает голодного пайка — восемушки хлеба и полугнилой картошки. Когда я читал дома для школы «Сон Обломова», книжка вывалилась из рук и меня затошили. Дважды принимался читать и дважды ощущал голодную тошноту.

И тогда я заплакал от негодования на Гончарова, спокойно-повествовательно дающего картину попального обжорства. Плакать было стыдно, но слезы непроизвольно текли по лицу. Я бросил книгу под стол, вытер слезы и лег ничком на диван.

В соседней комнате у инженера Александра Александровича садились пить чай с сахарином и с буханкой хлеба. Буханку инженер получил за проект, и это было выше денег и наград.

Буханка хлеба! Чай с сахарином! Неважно, что у чая немного медный, вяжущий вкус, зато он сладкий и горячий, а там еще есть хлеб, замечательный черствый хлеб, каждая крошка которого имеет аромат.

Инженер — друг нашей семьи, мы живем в одной квартире, у него три комнаты, и у нас три. Но когда испортилось центральное отопление, мы стали жить бок о бок в двух комнатах, самых маленьких и теплых, обогреваемых печками «буржуйками», а остальные четыре комнаты были холодны, пусты и неприветливы, на вещах лежала пыль, и пауки вили паутины.

Дочь инженера Ирка — моя подруга, ей двенадцать лет. Мы учимся в одной школе. Только я в третьей группе II ступени, а она в первой. Ирка забегает к нам и приносит кусок хлеба, кружку чаю и папиросу. Я знаю, что мне вредно курить, но дым убивает на время голод. У нас в третьей и четвертой группах все парни курят в открытую. Комиссар школы разрешает: «С педагогической точки зрения вред, но ничего не поделаешь... курите в уборной». Ирка славная девочка, у нее смешная косичка, белобрысая и сентиментальная, а лицо похоже на мордочку лисички. Я немного влюблен в нее. Когда я сыт,

мы сидим вдвоем на диване, мечтаем и целуемся, «совсем как взрослые» (так говорит Ирка). Она ставит свое приношение на стол, поближе к свету керосиновой «моргалки» (на электрической станции часто случаются аварии). У меня спазмы в желудке, слюна в горле, я хватаю хлеб и начинаю есть, запивая горячим чаем. Ирка сострадательно глядит, в ее глазах жалость взрослой женщины, и она шепчет: «Я тебе завтра утром дам еще кусок!» Это великое самопожертвование, она отнимает часть хлеба у себя. Я обнимаю ее худенькие плечи, и мы садимся на диван.

— Я очень тебя люблю, — говорю я уверенным голосом (О! Теперь я почти сыт) и закуриваю папиросу: — Когда окончится гражданская война, мы уедем на Кавказ.

— Зачем? — спрашивает она, охваченная женским любопытством и желанием услышать от меня нечто лестное ее самолюбию.

— Зачем? — неопределенно говорю я. — Нужно... У меня есть план, о котором поговорим потом, я еще должен его разработать.

— А там горцы! — шепчет она и прижимается. — У них серебряное оружие, и они храбрые.

— Я их не боюсь.

В комнате становится холодно.

— Давай растопим «буржуйку», — предлагает Ирка.

Я лезу под стол и достаю два огромных «Свода законов Российской империи» — наследство покойного отца. Он был юристом. Десять томов мы уже сожгли. Осталось еще двенадцать. Двух томов и одной ножки кухонного стола хватает на одну топку. Тяжелый коленкоровый переплет «Свода законов»

горит великолепным ярким пламенем. Становится теплее. Я ставлю чайник. Мы целуемся, неумело подставляя друг другу губы.

— Совсем как взрослые влюбленные! — радостно смеется Ирка.

Тогда приходит к нам Бобка Греков, мой приятель по второй ступени. Он старше меня, приземист, рябоват, у него ломается голос и над губой под большим носом черный пушок. Он вешает кадетскую шинель и фуражку с красным окольшем на крючок у дверей. На Бобке черный суконный бушлат с красными петличками. Он донашивает старую форму. Мы с ним познакомились в сентябре 1918 года, когда прежние учебные заведения — гимназии, реальные училища, корпуса и женские институты были расформированы. Тогда проводились первые опыты совместного обучения, и вот в бывшую женскую гимназию княгини Оболенской в старшие классы перевели двадцать пять кадет из Александровского и Николаевского корпусов, реалистов из третьего училища и учащихся гимназии «Человеколюбивого общества». А для того, чтобы эта вата-га молодых людей не наделала чего-либо предосудительного в женском учебном заведении, назначили комиссара Данилу Александровича Абросимова, желчного пожилого общественника-педагога, пострадавшего от царского правительства за революционность. Абросимов действительно был деловым педагогом и сумел взять в правильный оборот разноплеменное молодое стадо. Вывеску «женская гимназия» сняли и заменили дощечкой — «41-я единая трудовая школа II ступени».

Первым этапом нашей дружбы с Бобкой Грековым явились оловянные солдатики. Мои сверстники,

наверное, вспомнят этих солдатиков. Их продавали до революции в Гостином дворе в соломенных коробочках Нюрнбергской игрушечной фабрики. Коробочка из двадцати пяти штук пехоты или десяти конницы стоила сорок копеек. Были и отечественного производства по пятнадцати копеек коробочка (десять пехоты и семь всадников). Но нюрнбергские солдатики имели более изящный вид и носили мундиры различных полков и даже эпох (были рыцари, наполеоновские войска, черногорцы, англичане, кавалергарды, московские стрельцы в красных кафтанах с алебардами и т. д.). В начале войны игра в солдатики стала повальным увлечением учащихся младших возрастов корпусов и гимназий. У меня был приятель из Александровской военной гимназии (ныне умерший инженер), так у того имелось двадцать тысяч нюрнбергских солдатиков. Когда он их расставлял, это было поистине грандиозное зрелище.

Бобка Греков пленил мое сердце намерением подарить мне пятьсот солдатиков.

— Я вышел из того возраста, когда играют, — сказал он в уборной между двумя уроками математики. — Возьми их себе! — Он помолчал и сурово добавил: — Я иногда буду делать инспекторские ревизии, и чтобы мой Гурко (старый солдатик на облезлом бесхвостом коне) остался командующим объединенного корпуса.

У меня тоже был старый воин Мюрат, с 1914 года командующий моими восемьюстами солдатами, но из-за пополнения армии я с сердечным сожалением решил дать отставку своему заслуженному маршалу.

У Бобки и у меня не было отцов.

Бобкин отец, хорунжий Оренбургского казачьего полка, был в 1915 году убит в Галиции, его мать жила с артистом. Бобка постоянно приходил ко мне вечерами, а иногда и ночевал. Пять кадетских лет приучили его к молодечеству и грубости, за которыми он скрывал доброе и нежное сердце. Часто Бобка рисковал быть битым, воруя на базаре картошку, которую приносил нам.

— Нате, — говорил он моей маме, — нате, Ольга Константиновна, мне удалось у знакомого мешочника случайно достать! — и при этом смотрел в сторону. Однажды зимой, когда в комнате замерзала вода в стакане, Бобка притащил ночью тяжелую деревянную ставню.

— Откуда вы ее взяли? — удивленно спросила обрадованная мать. Бобка засопел носом и простуженным баском произнес:

— На 8-й Рождественской с окна снял. Не подыхать же вам от холода.

У мамы не нашлось силы поругать Бобку за присвоение частной собственности, очень уж было холодно, а «Своды законов» хороши только осенью. В зимнее время «буржуйка» требует более солидного топлива.

Бобка много курил, не стесняясь даже подбирать окурки с тротуара, и любил карты. Это была застарелая кадетская страсть, игра в «двадцать одно». В корпусе играли на деньги, марки, перья, иногда на истязания: «Проиграешь — получишь «смазь вселенскую», или три раза в морду плюну». Во II ступени тайком от комиссара, в уборной, играли на папиросы, хлеб, деньги; деньги делались из бумаги, каждый писал сумму и подпись, потом подсчитывали и расплачивались наличными.

Бобка продал на базаре за две керенки отцовское пальто и проиграл. Он играл, волнуясь, на его лице была написана величайшая трагедия, и он стал даже заикаться, когда ставил последний полтинник.

— На пп-голгинничек! — сказал он, и прикупив «жир», бросил карты и пошел наверх в кабинет естествознания. Там он совершил преступление. Из одной из многих банок, где в спирту плавали змеи, лягушки и ящерицы, он отлил спирту в свободную склянку, а в банку с анатомированной жабой налил воды. На другой день он проиграл спирт Ваське Блинникову, семнадцатилетнему дылде из второгодников.

Через две недели жаба разлезлась в воде к великому гневу нашего комиссара.

Заподозрили сторожа. Сторож клялся и божился, что он ни при чем, и тогда Бобка пошел в кабинет комиссара и заявил:

— Данила Александрович! Из трусости я молчал, хотя спирт и выпил.

— И вас не стошнило? — удивился тот.

— Нет!

— Гм. Гм... — промычал комиссар, — пойдите во двор и помогите пилить дрова для школы!

И Бобка до вечера пилил и колол дрова, получив в благодарность от завхоза два березовых полена, которые с гордостью принес домой.

Таков Бобка.

Он пожимает руку Ирке и говорит торжественно:

— Воля! мне требуется с тобой серьезно поговорить!

Он именно говорит «требуется» и напирает на это слово. Ирка нехотя поднимается с дивана и обиженно-колко (она хочет быть настоящей женщиной) бросает фразу:

— Простите! Я не знала, что я лишняя, — и ее наивная косичка мелькает за дверью.

— Она хорошая, только не теперь! — говорит Бобка в ответ на мой сострадательный взгляд и начинает ходить по комнате: — Воля! Нет ли папиросы или «чиновника»? Есть? Спасибо! — Он с наслаждением закуривает остатки Иркиного приношения.— Знаешь? ... Юденич идет, — он поправился, — генерал Юденич идет, — и не дожидаясь ответа, (видимо, ему надо было только высказаться), говорит: — А к Юденичу многие кадеты из Псковского корпуса примкнули... Сейчас иду, а у Летнего траншею роют. Даже бабы и одна старуха лет шестидесяти, ей-богу, не вру. Вышел на Суворовский, мальчишки встретились, язык показывают и дразнятся: «Офицерский сынок. Кадет без эполет»... И еще Сережа Переверзев из нашей школы, «штафирка в очках», записался в курсанты. И кадет Михаил Шорин тоже добровольцем. (Бобка глотнул пересохшим ртом воздух). Им и форму выдали... Юнкерские длиннополые шинели и головные уборы — пирожками. Тогда на квартиру к комиссару пошел. Я у Данилы Александровича раза три бывал.

— А зачем не говорил? — интересуюсь я.

Бобка немного смущается:

— Не говорил? Да так, к слову не пришлося. Тебе бы все равно сказал, а другие могли бы подумать, что я к комиссару подлизываюсь, выслушаться хочу. А у него в квартире (в голосе Бобки

оживление) холода — не продолжнуть, и в аквариуме две рыбки золотых, так он около аквариума моргалки ставит, обогревает. Чудило! (это говорит любовно). Он, Воля, очень умный, он очень большевик, и он очень правду говорит. Я с ним в прошлый раз о корпусе беседовал, так он знаешь что сказал: «Вас, говорит, Греков, калечили, из вас манекенов делали: ярлычки — «честь мундира», «государь-император» и так далее. И система, говорит, вся ваша вредная была, уродливая, цуканье, презрение к штатским профессиям, к науке, искусству. Единственно у вас, говорит, хорошая черта была — это внутритоварищеская спайка». А сегодня Данила Александрович о России говорил, о кадетах-декабристах, о молодом Владимире Ленине, о брате его Александре, которого казнили. Ходит комиссар по комнате в ватной телогрейке и стихи читает Некрасова, а потом, прощаясь, говорит: — «Перед вами дороги все открыты!» ... И вот я думаю.

И Бобка почти кричит:

— Да! Я, кадет Николаевского корпуса, пойду курсантом-добровольцем защищать Петроград. Да, я мерз и голодал при Советской власти, я больше не ношу погоны с императорским вензелем. У тех Юденичей корпус, погонычики и офицерский мундир, а я не хочу. Не хочу, чтобы на проводах людей вешали! Если на моих глазах будут расстреливать комиссара — я не вытерплю... я...

Он заикается, этот смешной Бобка:

— Я... я... мне дали возможность учиться, казаку-кадету. Я сволочь какая, что ли? Мне нужна фабрика или усадьба, которых у меня нету? И... ничего не надо, и... и ничего. Полковники Каменев

и Шапошников, генерал Николаев в рядах Красной Армии. Генерал Николаев окончил мой корпус и Владимирское пехотное. Я Ваське Блинникову в живот коленкой пхнул, когда он назвал их изменниками. Он сам изменник... — и уже совсем тихо Бобка говорит: — Я, Волька, прошу твоего совета!

Он садится рядом со мной, вспотевший, взъерошенный, в коротком, потертом казенном бушлате, и его большие синеватые глаза пристально смотрят в мои.

Что мне сказать Бобке? Разве я стою его? Я худ и бледен, освобожден от допризывной подготовки в школе. Я храбр только при Ирке и в игре с солдатиками, там я безумно храбрый военачальник и руководжу самыми трудными стратегическими операциями, но сейчас я чувствую себя ужасно приниженным, и мне чего-то стыдно перед Бобкой. Я восхищен им, его знанием военного строя, он на допризывной площадке в Таврическом саду — взводный, и начальник учебного пункта бывший унтер-офицер Волынского полка Горобчик говорит про Бобку:

— Вот это настоящий, а не сопляк!

Я знаю, что Бобка не любит сентиментальничать, его нельзя поцеловать или растроганно обнять, он не «девочка», а военный.

— Ты молодчага, герой! — говорю убежденно, — ты Гарибальди.

Бобка польщен. Сурово спрашивает:

— Значит, одобряешь?

Я со вздохом зависти и уважения киваю:

— О да, конечно.

Бобка прохаживается по комнате. За стеной у

инженера Ирка играет на пианино экзерсисы. Экзерсисы монотонны и скучны.

— Я завтра утром пойду записываться, только надо себе год лишний прибавлять... — нарушает молчание Бобка.

— А если попадешь в плен? — спрашиваю я, и мне становится жалко товарища. Вот он сейчас ходит по комнате, живой, близкий и понятный, а послезавтра его могут бить прикладами и грубыми солдатскими башмаками, а потом повесить или расстрелять.

— Я в плен не сдамся, а если возьмут — трусить и просить пощады не буду. — Он снова шагает по комнате, напевая свою любимую песенку о фуражке.

Фураня милая, не рвися,
Тебя сберег я навсегда,
С тобою бурно пронеслися
Мои кадетские года!

— Знаешь что, — говорит Бобка, — знаешь что, давай я устрою последний инспекторский смотр сводному полку.

Сводный полк — это особый избранный полк моей армии, туда входят лучшие солдатики всех полков и батальонов. Я вынимаю из шкафа сводный полк в большой коробке — сто штыков. Мы расставляем солдатиков на столе. Застыгают кирасиры на белых конях, уланы с желтыми значками, гусары в красных мундирах, французы, немцы, артиллеристы, zuавы в расшитых куртках.

Из другой коробки вынимаю штаб. Любимец Бобки генерал Гурко на облезлой лошади без хвоста и начальник штаба маршал Мюрат на белом коне в окружении адъютантов принимают парад.

— Это ничего, что мне шестнадцать, — оправдывается Бобка. — Я читал, что писатель Уэллс с другим писателем Конан-Дойлем и сейчас между собой в солдатики играют. У Конан-Дойля даже механические солдатики есть! — И Бобка баском командует: — Пар-р-ад! Смир-р-но! К церемониальному маршру приго-о-тovься!

За этим занятием нас застала мама.

Милая мама! Она приходит усталая, у нее бледное, бескровное лицо одного цвета с косынкой сестры милосердия. Мама работает в красноармейском госпитале. Она только что с дежурства. Еще не раздеваясь, с порога комнаты она взволнованно говорит:

— Дети! Царское село только что занято войсками генерала Родзянко. Напи отступают. Разъезды белых появились у Пулковской горки.

И тогда Бобка срывается со своего места. Он весь дрожит.

— Я пошел! — нервно кричит он. — Дорогая Ольга Константиновна и Волька, я ухожу в казармы!

И, не обращая внимания на наши уговоры подождать до утра, он торопливо натягивает шинель и нахлобучивает на голову старую фуражку. Потом подходит ко мне и протягивает руку. Я его обнимая и целую.

— Ольга Константиновна, — просит он маму, — поцелуйте меня в лоб!

На другое утро в школе Бобки нет. Его место рядом со мной пустует. И не только его. Пять человек не явилось. Нина Обольянова, хорошенькая, кукольная девочка лет пятнадцати, вполголоса раз-

говаривает с соседом, кадетом Никой Родионовым, нежным и хрупким мальчиком. Они сидят позади меня, и я все слышу:

— Папа говорит: «финны помогут Юденичу»...
(Это Нина).

— Ах, скорее бы! У нас опять был бы свой автомобиль, а то жить противно в царстве хамчиков!
(Это Ника).

— Комиссара тогда арестуют, усадьбу возвратят, и я летом вас приглашу.
(Это Нина).

— Мерси. У нас у самих великолепная дача в Петергофе!
(Это Ника).

Я оборачиваюсь к ним и, делая вид, что ничего не слышал, говорю:

— Знаете? Греков-то в курсанты поступил.

Нина морщит носик, а Ника пожимает плечами:

— Я не удивляюсь... Он никогда не был человеком порядочного круга!

Во мне все кипит, но я сдерживаюсь:

— Он хамчик? — спрашиваю Нику.

— Ну да, — отвечает тот презрительно. — Хамчик, большевик из союза молодежи!

И тогда я радостно бросаю в ангельское лицо:

— А вы, Ника, мерзавец и подлец, и когда придет Греков с фронта, он вам набьет физию.

Входит комиссар. Он смотрит на нас сквозь пенсне, старомодное чеховское пенсне на шнурке.

— Греков здесь? — спрашивает он.

Я поднимаюсь со своего места:

— Данила Александрович! Греков вчера вечером ушел в казармы.

— Ушел все-таки. — Произносит комиссар, и глаза под пенсне светлеют, и, оборачиваясь к нам, он говорит: — Пять лучших ваших товарищей на фронте защиты революции. Этим можно гордиться!

Бобка на фронте. Три дня о нем нет никаких вестей.

По вечерам, когда замирает жизнь города, можно слышать отдаленную канонаду и видеть белые полотнища прожекторов, протянутые на свинцовом небе.

В одну из перемен комиссар подзывает меня:

— Вы, кажется, лучший друг Грекова? Расскажите что-нибудь о нем.

Он берет мой локоть, и мы идем по залу. Я рассказываю о Бобке. Потом комиссар говорит о том, как два месяца тому назад к нему пришел Греков и потребовал — «понимаете, пришел и таким супротивным голосом требовал по-честному рассказать о коммунизме». — «Я, — сказал он, — все пойму». (В голосе комиссара я чувствую нежность).

И еще день.

Курсанты переходят в наступление. Части генерала Юденича и Родзянко отступают за Пулково, Детское Село.

И вот плохим вечером, когда с моря распространяется пронизывающая сырость, я сижу и слушаю Иркин рассказ об учительнице Нине Петровне. Учительница упала в обморок на уроке географии, она рассказывала о Полинезии, на карте ее отыскивала, и вдруг села на пол бледная вся, и голова тряслась. Девочки испугались. Воды принесли. Валя Платонова галету суёт. Учительница поднялась с пола, галету взяла, в руках цепко держит. Потом покраснела и галету отдает Вале: «Спасибо вам. Но толь-

ко вы напрасно... Я просто утомилась. Ночью у сына дежурила. Он у меня воспалением легких болен».

— А какое там утомилась, — говорит Ирка, — сразу видать — голодная.

Ирка говорит сбивчиво, торопясь, и смотрит на меня с тяжелым недоумением:

— И почему это, Воля, так люди живут?

— Как так? — спрашиваю.

— Да так. Белогвардейцы воюют. Кровь, голод, тиф. Раз видят, что их не хотят, ушли бы. — Ирка умолкает.

— Когда я буду большая, — через несколько минут говорит она, — когда я стану твоей женой и мы уедем на Кавказ, я открою для детей горцев школу и научу их бороться против войны. Им и без войны дел хватит!

В комнату входит мама. Она пришла с черного хода, с кухни, и принесла из лазарета запах иодоформа и страданий.

Она приходит домой на несколько часов, уставшая и изможденная, и сразу ложится спать, чтобы через четыре часа опять в лазарет, и если нет трамвая — пешком на Васильевский. Мама теперь скучна на слова и на ласку. Она устало садится на стул и говорит:

— Из Гатчины привезли Бобку, ему очень плохо... одевайся и поезжай к комиссару. Бобка хочет вас видеть, а я немножко отдохну и пойду к его матери. Встретимся в лазарете. Палата номер двадцать, семнадцатая койка.

— А мне можно, тетя? — спрашивает побелевшими губами Ирка и трясется от слез.

— Нет, — жестко говорит мама, — нельзя!

Комиссар живёт недалеко от школы.

Я выбегаю на улицу, на ходу застегиваю такую же старую, как и у Бобки, шинель. И говорю себе: «Ты мужчина и не должен плакать». Я это говорю сам себе и вытираю грязным носовым платком глаза.

Трамвай едет чрезвычайно медленно. Если бы я был вожатым, я бы гнал трамвай, как гонят ковбои в Мексике своих лошадей. На Литейном на ходу высаживаю из вагона и затуманенными глазами ищу дом комиссара. Я не обращаю внимания на дождь и ветер. Нет никаких мыслей, кроме одной, чтобы Данила Александрович не ушел. Я бегу по лестнице на четвертый этаж, сердце готово разбить грудную клетку, и ноги трясутся.

— Данила Александрович! — кричу отворившему дверь Абросимову. — Данила Александрович, скорее... скорей... наш Бобка умирает в лазарете на Васильевском. Скорее, скорей.

Комиссар снимает пленсне и, как дятел, трясет головой.

— Умирает? Греков? — и он прыгает по прихожей, отыскивая шляпу, не находит шляпы и говорит:

— Идем скорей, скорей!..

В трамвае мы молчим. Мы хотим говорить, но не можем.

На седьмой линии мы бежим к мрачному зданию бывшей мужской гимназии, там лазарет.

Санитары знают меня. Я часто бываю у мамы. Но сегодня я не узнаю никого.

Я даже не чувствую, что мои ботинки с дырявыми подметками пропитались водой. Комиссар отряхивается в вестибюле и что-то объясняет дежур-

шой сестре. Мы идем за дежурной, по коридорам, из открытых дверей палаты доносятся стоны и бред раненых. Это доставленные из-под Ямбурга, Детского села, Гатчины, Пулкова.

Из одной палаты несется чистый звонкий голос команды:

— Из пулеметов по врагам революции — пли!

Сестра с уважением говорит комиссару:

— Это командир особой роты Матросов! Имеет четыре ранения! Его рота первой вошла в Гатчину! — и останавливаясь у дверей следующей палаты: — А вот здесь товарищ Греков.

Мы на цыпочках идем мимо кроватей. Идем тихо, чтобы не нарушать своими шагами усталый сон измученных людей.

Бобкина кровать крайняя у окна.

За окнами серый, дождливый город, отвоеванный Бобкой у генералов. Бобка Греков лежит и видит его из окна — это хорошо.

Он поднимается на подушках бледный, с головой, стриженней под машинку, и произносит:

— А Петроград-то наш!

Он смотрит на комиссара и на меня, хочет улыбнуться, но лицо искажает гримаса.

— Спасибо, навестили! Очень рад... — жует губами от мучительной боли и, как бы продолжая начатый рассказ, говорит: — Я и сам не думал, что так выйдет. Когда увидел перед собой знакомые погоны и кокарды, так и винтовку поднять не могу... свои!.. — Бобка протянул вперед бледную худую руку. — Свои! И полковник ихний по-свойски кричит: «Жиды, сволочи! Курсанты! Выдавайте ваших коммунистов!» А тут комроты Седов мне:

— Греков, а ну сбей гада! — а комроты Седов из бывших поручиков, он ясно видит мое волнение и говорит: — Кадет! Слушай, кадет Греков. Народ не хочет их, понимаешь? Наш народ, а мы ему служим, — и он еще убеждает: — Всякие фигли-мигли надо побоку!

Греков возбуждается, и на его серых скулах проступает румянец.

— Не надо, милый Греков, — ласково просит комиссар и гладит Бобкину руку, — не надо! После доскажешь!

— Нет, мне легче... мне надо! — сердится Бобка, — это чрезвычайно важно... надо, чтобы вы поняли. Чтобы хорошо поняли, как я понимал вас и Седова. — И я беру винтовку, целись и снимаю полковника, иду вместе с другими в атаку. Я чувствую какой-то подъем, и нет жалости, и ничего нет, только одно: надо...

Бобка кашляет. На его лбу пот. Данила Александрович достает из кармана свой носовой платок, но платок грязен, и комиссар убирает его обратно.

— Воды! — просит Бобка, жадно хватает эмалированную кружку и, захлебываясь, проливая воду на серое байковое одеяло, пьет.

— А на другой день меня в перестрелке ранили в живот, — скрупульно заканчивает Бобка... Видя, что к койке подходят наши матери, шепчет: — Воля! Наклонись. — Я наклоняюсь к нему, он хватает мою руку. — Воля! Никому не говори... Ты знаешь что... ты, когда меня не будет уже... Ты Гурко возьми... ты его возьми и незаметно ко мне на грудь положи. Очень прошу. С ним приятнее будет.

Бобка сжимает слабеющими влажными пальцами кисть моей руки:

— Сделаешь?

Я киваю. Я не хочу в присутствии Бобки плакать.

— Ну вот, — облегченно вздыхает Бобка, — ну вот... а теперь иди. Я тебя очень люблю... и Ирке кланяйся. — Затем обращается к комиссару ссыпавшемуся от усталости голосом: — Прощайте, Данила Александрович! Я очень рад вас видеть... спасибо!

Комиссар поднимается со своего стула, подходит к Бобке. У комиссара дрожат руки, когда он гладит Бобкину стриженую голову.

— У меня нет сына, — чуть слышно говорит он, — нет сына... но у меня есть много детей, за которых я отвечаю. Из них вы самый лучший, самый мужественный.

У Бобки на глазах показываются скучные слезы:

— Не надо, — шепчет он, — не надо. Я ведь это хот... я ведь хотел просто так... Данила Александрович, я ведь для других это... я от стыда за себя... все... все получил и ничего не дал... а теперь отдал... — и уже совсем тихо: — Вы, Данила Александрович, мою фуражку возьмите. Вам ее мама подарит...

Бобка больше не может говорить. Он устало машет рукой, и мы уходим. У его постели остаются наши матери.

И вот мы идем по улице.

Моросит дождь.

Мы садимся в трамвай, я провожаю комиссара до его дома. У парадного подъезда комиссар говорит с большим чувством:

— У меня есть сын, и этого сына зовут Греков.

* * *

И я помню ночь.

Я уже знаю от мамы, что Бобки нет. Теперь я не стыжусь своих слез. Вместе со мной плачет Ирка:

— Бобка был такой симпатичный! Если бы он был старше, у него был бы ребеночек, мы бы взяли его на воспитание.

В комнате мы одни.

У инженера спят, мама в лазарете.

Я беру коробки с солдатиками с трепетом и болышим горем.

Сейчас в моем представлении Бобка — это генерал Гурко, и чтобы отдать свой последний долг товарищу, я должен похоронить Гурко.

Я расставляю сводный полк.

Я не позволю Ирке трогать солдатиков:

— В другое время можешь, а сейчас нельзя!

Потом я кладу генерала Гурко в спичечную коробку и ставлю ее на лафет крохотного орудия артиллерийской батареи.

Шесть лошадей везут лафет.

Затем я из маминого чемодана достаю лоскуток красной материи и покрываю ею спичечную коробку.

Так хоронят храбрейших наших командиров!

Я глотаю слезы и командую:

— Полк, смир-р-но! На кр-рра-ул!

Затем я говорю речь: «Курсанты! Сегодня мы хороним нашего боевого начальника! Он умер как герой, защищая Петроград... он!..» — дальше я не могу говорить.

Но я должен исполнить Бобкину просьбу и довожу церемониал похорон до конца.

Ирка, смотря на это с благоговением и вытирая слезы, говорит:

— Очень трогательно! Ты и меня так хорони!

Я снимаю с лафета завернутую в красный лоскуток коробочку и кладу в боковой карман своей тужурки.

Завтра утром я отнесу Гурко к Бобке.

И вот наступает завтра.

Я не иду в школу, а сажусь на трамвай и еду в лазарет.

Никто не должен знать о просьбе Бобки.

В лазарете знакомый санитар Сидоров ведет меня в мертвецкую. Какое страшное слово «мертвецкая»! Какое холодное и жестокое!

Бобка лежит в простом деревянном гробу.

Лицо его молодо и спокойно.

Он одет в курсантскую форму и наполовину прикрыт красным покрывалом.

— Тут приходили к нему из школы, заведующий, и распорядились, — объясняет Сидоров.

— Можно побывать с товарищем? — прошу я.

— Ну что ж, — добродушно говорит Сидоров, — ежели хочешь, юноша, то постой... постой, юный товарищ, на карауле... а я минут через десять загляну.

И вот мы с Бобкой наедине.

Я не хочу скрывать того, что мне немного страшно.

Меня знобит лихорадка от необычайности обстановки. Но я превозмогаю боязнь. Наклоняюсь над холодным, спокойным лицом Грекова и говорю:

— Бобка, милый! Я принес Гурко.

Бобка молчит, он спокоен; ведь он знал, что я принесу Гурко.

Тогда я, уже без боязни, расстегиваю Бобкин френч и там, где когда-то былое такое хорошее и верное сердце, кладу Гурко, старого оловянного солдатика на облезлом бесхвостом коне. Застегиваю френч, руки мои дрожат, холод бобкиного тела проходит в мое сознание.

— Вы здесь? — слышу знакомый голос и вздрагиваю. Перед гробом стоит Данила Александрович. Лицо у комиссара постаревшее и усталое. В руках он держит венок из искусственных цветов, перевитых алой лентой. Он кладет венок у ног Бобки. Концы ленты опускаются, я читаю надпись золотыми буквами: «Солдату революции Грекову» (это на одном конце), «Школа и педагоги гордятся тобою» (это на другом).

* * *

На следующий день хоронили Бобку. За гробом шел оркестр, рота курсантов школы имени Володарского и наша группа.

На проспект падал снег и таял. Первый петроградский снег, мерзлый и мокрый.

Но курсанты идут бодро. Их молодые обветренные лица спокойны, шаг их четок и решителен. Они знают, что Юденич опрокинут и что жертвы, понесенные ими, спасли город революции.

На Смоленском кладбище комиссар произносит речь. Комиссар в дни своей юности слушал лекции на историко-филологическом факультете и любит говорить историческими аналогиями:

— Товарищи! Мы хороним курсанта Грекова, юношу, подобного героям Великой французской революции! Он пришел к нам из другой среды, но был молод и восприимчив ко всему светлому и пре-

красному. Он понял, что это новое рождается здесь в муках голода и борьбы за счастье угнетенных. Он пришел к нам в самый тяжелый момент и сказал: «Если революции, если моей свободной Родине нужна моя жизнь — пусть она возьмет ее!» И он радостно отдал свою жизнь за новую молодость своей великой страны. Он погиб от пули тех генералов, которые хотели воспитать из него покорного исполнителя своих желаний, воспитать из него слугу царя и господ. Уходящая затхлая Россия убила курсанта Грекова. Но курсант Греков остался жить! — комиссар обводит зарницами своих пленников, стоящих около могилы, и вдруг рвущимся звонким голосом заканчивает:

— Привет вам, дети! Привет вам, юноши. Вы стоите на страже молодости Республики, и каждый из вас так же смел и так же честен, как Греков!

Играют похоронный марш.

Гроб опускают на полотенцах в яму.

Потом мы бросаем горсти глинистой земли на крышку гроба. Работают лопаты.

Вырастает могильный холмик. Раздается команда, и троекратный залп прорезывает нашу печаль.

Когда мы уходим, каждый из нас оглядывается с любовью на свежий сосновый столб с жестянной дощечкой, на которой старательно написано: «Курсант военной школы Володарского Борис Александрович Греков. Родился в 1903 г., скончался от ран 30 октября 1919 года».

Примечание: «Оловянные солдатики» — довоенный рассказ писателя был опубликован в журнале «Знамя», переведен на французский язык и отмечен в парижском журнале «Коммюн».



РАССКАЗ О КИЯНГЕ

КАК-ТО в Вологде гастролировал передвижной зоологический цирк. Это был неплохой цирк, и его артисты, видимо, любили своих подопечных: звери были веселые, даже гиены и волки имели вид сытый и довольный.

Конечно, детишки кормили слона печеньем и булками, медведям бросали сахар, и те, умилительно зажав кусок рафинада лапами, кланялись и благодарили. Только крокодильчик дохло лежал в жестяной лохани с подогретой водой, да еще удав свернулся кольцом в стеклянном террариуме,

Но на кого было печально смотреть, так это на обезьян. Одна из них, большая, из породы павианов, с трудом умешалась в явно малой для нее клетке. На улице холодно, ветрено, по-осеннему дождливо. Обезьяны в клетки огородили стеклом и обогревали электричеством. Когда павиану становилось невмоготу, он начинал прыгать, и вместе с ним прыгала клетка, и у обезьяны округлялись измученные, слезящиеся глаза.

Посещение зоологического цирка напомнило мне историю о Киянге. Еще до Великой Отечественной войны в Ленинграде знал я морского врача Владимира Петровича Попова. Он служил на Балтийском флоте, а затем — в торговом пароходстве. В Отечественную войну Владимир Петрович был начальником госпиталя и умер в прошлом году, не дотянув четырех месяцев до восьмидесятилетия.

В его двухкомнатной квартире на Петроградской стороне, недалеко от Большого проспекта, всегда проживала какая-нибудь живность: то юркий мангуст с пышным хвостом, то говорящий зеленый попугай, то мадагаскарский дикий кот, сидевший на книжном шкафу и грозно шипевший на гостей, то деликатная карликовая египетская собачка, то чудесные голосистые пичужки из Бразилии. Все эти обитатели души не чаяли в докторе. Дикий мадагаскарец мурлыкал на его плече, мангуст ревниво следил за котом, норовя подпрыгнуть и когтем задеть кота по носу. Даже бразильские птички хлопали крыльями и танцевали на жердочках, встречаая Владимира Петровича.

Хозяйство доктора вела его племянница, Вера Михайловна, вдова погибшего на фронте артиллериста. Она любила и уважала дядю, с удовольствием

слушала его рассказы о привычках зверей и птиц, понимала хорошую музыку, и на старом фортепьяно, привезенном из Вологды, играла особенно любимого доктором Шумана. Она преподавала музыку и пение в средней школе.

В этой милой семье я бывал частым гостем. Зверьки из квартиры иногда поступали в зоологический уголок школы, над которым доктор шефствовал.

Среди постоянных Владимира Петровича не было почему-то обезьянок, и как-то за стаканом крепкого чая (его особенно хорошо умел заваривать сам хозяин), я спросил, чем это объясняется.

Маленький седой доктор помолчал, затем вынул из кармана трубочку-носогрейку, набил ее из кожаного кисета черным табаком и закурил.

— Обезьяна, если она обладает храбрым и открытым характером, привязывается к человеку преданно и верно. Трусливые звери, наоборот, пакостничают, подлизываются и изменяют. Послушайте историю о Киянге.

Я выразил живейшее согласие просидеть в кресле хоть до утра.

— До утра многовато, постараюсь сократить, да и Верочка эту историю уже знает и — вижу по ее глазам — готова еще раз безропотно ее выслушать. Итак, как говорится в старинных романах, полковник, придвинувшись к камину, начал свой рассказ.

— После военно-морского флота я перевелся на коммерческие пароходы, тогда Внешторг только что заключил несколько договоров с иностранными фирмами. На «Севере» в должности судового врача отправился и ваш покорный слуга. Не буду описы-

вать романтику Индийского океана, стоянки в красочных портах, скажу только, что приход советского судна в иностранные порты вызывал ненависть богатых негоциантов, колонизаторов, холодное любопытство чиновников и сочувствие цветного населения. И тогда уже упоминание слов «русский», «советский», «Ленин» было магическим.

В большом цейлонском порту в то утро стояла невыносимая жара. Я сидел на крытой веранде отеля и пил черный кофе со льдом — освежающий напиток. Вошли двое джентльменов в белых шлемах и заняли соседний столик. Между столиками появился старик малаец, держа на руках обезьянку. Джентльмены его подозвали. Они уже порядочно выпили и начали потешаться над зверьком: пускали ему в глаза табачный дым, дергали за хвост.

Обезьянка пронзительно визжала. Малаец что-то гортанно сказал и подошел ко мне. На ломаном английском языке старик предложил купить ученую обезьянку. Он взвывал ко мне, уверяя, что никогда бы не расстался с Киянгом, но у него болен сын, и без десяти шиллингов не обойтись: «Десять шиллингов, сэр, десять шиллингов — и вы будете иметь большое удовольствие!»

Признаться, мне не нужна была обезьянка, да и не знал я, разрешит ли капитан Михайлов взять на борт Киянга.

— Купите, сэр, — кланялся малаец, — это преданное сердце, а я вижу, что вы добрый человек.

— Ну, пойдем к капитану.

— Какой ваш корабль? — спросил старик и радостно закивал, узнав, что советский.

— О, русский капитан разрешит, он не обидит бедного рыбака.

Капитана мы встретили в порту. Я доложил просьбу, и Михайлов, взглянув на малайца и жалкую обезьянку, согласился.

— Только соблюдать чистоту, а то — за борт! — грозно прибавил он.

Я, отдав деньги малайцу, взял Киянга на руки. Он жалобно закричал. Малаец стал ему что-то тихо шептать и гладить за ухом. Затем он ушел, не оглядываясь.

Киянг печально смотрел ему вслед. Я тоже погладил его за ухом. Он взял своей лапкой меня за нос и лизнул шершавым языком.

— Киянг, — сказал я, — ты не бойся, Киянг, мы будем друзьями.

Я купил бананов и зеленых орехов, но обезьяна первые три дня плохо ела, скучала, привыкала к морю.

Зверек оказался чистоплотным. Меня он вскоре полюбил. Понравился он и в кают-компании. И старпом, и штурман, и механик наперебой угождали его фруктами и сладостями. У Киянга постоянно болел живот от сладостей.

Приехали мы в Ленинград, и сразу моя холостяцкая квартира помолодела.

Когда я приходил из амбулатории, меня встречал радостный визг. Киянг бросался на шею и лизал мой нос. Надо признаться, нос от этого страдал и всегда был красным, что давало повод фельдшерам считать доктора Попова «тайным пьяницей».

Мать дворника, помогавшая в уборке квартиры, смеялась: «Облизьян вас, батюшка, отцом считает, умилительная скотинка, ей-богу, трогательная». Старушка и сама баловала Киянга и приучила его есть с удовольствием северный «фрукт», что счи-

тался самым дешевым — пареную репу. Помните? «Дешевле пареной репы». Ел он и морковку сырую, яблоки, мандарины, конечно, когда последние бывали. Сначала подержит в лапках, понюхает, подбросит, как мячик, а затем начинает снимать кожуру.

Спал Киянг со мной. Было у нас детское одеяло. Он всегда в него завертывался. Но обязательно ухватывался лапкой за мой мизинец. Возьмет мизинец, цепко так возьмет, и засыпает чутко, а при малейшем шуме вскакивает.

Владимир Петрович тяжело вздохнул, снова набил трубку и задымил.

— Да, тут произошел казус. Извольте видеть, теперь я старая подметка, сухолуптный пенсионер, но тогда я был, конечно, хоть и не юноша, но все же симпатичный морячок, корабельный врач, имевший в Ленинграде квартиру. Да не улыбайся, Верочка, на дурость дяди, а дурость была колossalная, спасибо Киянгу, да, впрочем, все по порядку.

Среди моих пациентов числился знаменитый капитан Анатолий Николаевич Самуров, герой гражданской войны из балтийцев. Несмотря на свои шестьдесят с лишним, он еще плавал по заграницам, им дорожило начальство и всегда назначало второго и третьего помощников из молодых, чтобы учились у Самурова. Но капитан все же прихварывал то сердцем, то ревматизмом, когда стоял «на причале». С ним жила старшая дочка Любовь Анатольевна, которой я приглянулся.

— Ох, доктор, Любочка все глаза проглядела, и не угодно ли закусить, мы только что собрались к столу, а вы легки на помине.

И ведут в столовую. А там уже водочка и наливочка, селедочка и пирожок.

Ходил я с Любочкой в кинотеатр «Пикади-ли», в драматический театр на «Грозу» и даже в оперный — на «Кармен».

Приходил домой ночью и слышал, как Киянг скучит от тоски. Сердце и у меня начинало ныть: не делом занимаюсь, чувства-то большого нет, а просто так, жениться приспичило, невеста нашлась.

Отворял дверь, и Киянг, повизгивая, вешался мне на шею, ну, все равно, что ребенок. Я приносил из театрального буфета то яблоко, то апельсин, но он на них внимания не обращал, а все жался ко мне, что-то бормотал, гладил по лицу.

Любочка же выговаривала, зачем покупаю лакомства для какой-то противной «макаки», ей и морковки предостаточно, а чем убирать за ней, лучше сдать ее в зверинец.

— Гадкая обезьяна! И что это вы, Владимир Петрович, ее балуете! — злилась Любочка.

Однажды заглянула под вечерок Любочка одна, нарядная, раздущенная.

— Я к Вам, милый доктор, на минутку, гуляла по набережной и решила Вас вытащить, Вы давно со мной вместе не были.

— Рад! — кланяюсь. — Не ожидал. Сейчас чаем угощу, у меня и ванильные сухарики, и колченая колбаса «салями».

Пошел на кухню, примус разжигаю, колбасу на деликатные кусочки режу.

Вдруг слышу ругань Любочки: «Ах ты, мартышка противная, тварь!» А затем неистовый визг Киянга, такой, что сразу я выскочил из кухни в комнату, а нож столовый в кулаке зажал.

Разъяренная Любочка бьет зонтиком Киянга, а он, маленький, сжался в комочек и забился в угол дивана и лапками, как когда-то защищался от джентльменов, закрывает свою голову.

И этот беспомощный жест Киянга наполнил меня бесконечной нежностью к нему. Я бросил нож на ковер, схватил Киянга и стал укачивать, а он, всхлипывая, лизал мое лицо.

Любочка убежала, а потом уверяла родных, что я хотел ее зарезать и что вид у меня был самый каторжный.

Забыл я о всяких женитьбах, и зажили мы с Киянгом спокойно. Но, видимо, травма дала себя знать: зимой он заболел. К весне Киянг истощал до неузнаваемости. И все время просился ко мне на руки. Так на руках у меня и помер.

Очень было тяжело. Вот почему в моем «живом уголке» нет обезьяны.

Доктор встал с кресла. Подошел к письменному столу, вынул из папки фотографию и протянул мне. С пожелтевшего снимка смотрел моложавый корабельный врач в белом форменном кителе, прижимая к своему плечу милую, доверчивую обезьянку.



ЛЮБОВЬ МОЯ — ВОЛОГДА

ЕСЛИ бы мне в далекие студенческие годы сказали, что вся моя последующая жизнь пройдет в Вологде я бы очень удивился. О русском севере я знал только из лекций профессоров Ю. Соколова и И. Розанова, да из «Истории искусств» Игоря Грабаря. Знал еще, что есть вологодские кружева и что русское «парижское» масло — вологодское.

Когда судьба забросила меня в Вологду, я первые дни ходил по городу ошеломленным. Сразу удивило — деревянные мостки вместо тротуаров и обилие коз, особенно летом.

Но вскоре я полюбил задумчивыми белыми ночами прогуливаться по заречным улицам. Тишина. Деревянные особнячки с причудливой кружевной резьбой, с антресолями и балкончиками, мезонинами и точеными колонками, с букетными гирляндами по фасаду, запах черемухи у палисадов, кругом зелень и милый провинциальный колорит, знакомый по произведениям классиков.

Так и казалось, что вот из этого трехоконного ампирного домика выйдет в крылатке и в широкополой шляпе бородатый писатель-публицист Николай Васильевич Шелгунов и, сутулясь, опираясь на палку, направится за реку «в город» к удивительно му храму Варлаама Хутынского, где вместо куполов изящные вазы и где рядом в двухэтажном особняке его ждет Павел Владимирович Засодимский. Я населял город людьми, которых не забыла история. И вот уже на скамейке Соборной горки сидят лохматый семинарист Василий Сиротин — поэт «Улицы» и его учитель, историк Николай Иванович Суворов, благообразный, солидный, в форменном сюртуке. И мимо с краснощекой гимназисткой проходит юный канцелярист губернского правления Феодосий Савинов, будущий автор «Родного». А там слышна далеко разносящаяся по реке песня. Это на большой лодке, где сидит учащаяся 'молодежь и дирижирует хором вихрастый гимназист Володя Гиляровский.

В белые ночи возможно всякое. Возможно, зайдя в городской парк, ранее именуемый архиерейским, увидеть сопровождаемого слугой худенького старичка и узнать в нем Константина Николаевича Батюшкова, прославленного писателя российского.

Все возможно в белые ночи...

На моих глазах Вологда менялась. Я видел военную Вологду, город госпиталей и эвакуированных ленинградцев. Город, где в палисадах уже разводили не цветы, а картошку. В те годы гитлеровцы надругались над святынями Новгорода и Пскова, нарушили пушкинские места.

Старый художник Александр Иванович Брягин, когда-то реставрировавший памятники Новгорода, знаток древностей русских, ходил по госпиталям и со слезами на глазах рассказывал раненым бойцам о непреходящей красоте созданий народа.

Тогда был открыт Софийский собор, заложенный Иваном Грозным, и в нем развернута экспозиция «Славное прошлое Вологды». Собор был холодным, неотапливаемым, но сотрудники музея водили экскурсии солдат, едущих на фронт. Они внимательно слушали объяснения и смотрели на оружие, которое разило тевтонов, шведов, наполеоновские полчища, а со стен собора на них смотрели изображения русских князей, созданные артелью живописца Дмитрия Плеханова. Тут и Владимир Киевский и Александр Невский и многие другие. Среди воинов были солдаты артиллеристы и конники-казаки, сибиряки и украинцы, и им всем был небезразличен чудесный памятник вологодского искусства.

И воины чернильным карандашом писали в книгу отзывов: «Музей обеспечивает сохранность нашей дивной старины, особенно теперь, когда враги разрушили Псков и Новгород. Надо любить и беречь нашу старину».

А группа младших лейтенантов записала: «Очень ценно сохранить для будущего памятники прошлого».

Записей было много, и часть из них я воспроизвел

в первой своей книжке-путеводителе «Вологда», изданной к 800-летию города (1947 г.).

Двадцать лет мы с женой-художницей прожили в башне старинной «цифирной школы», входящей в комплекс Вологодского кремля. Каждое утро меня будили куранты звонницы и голуби, а летом — стрижи, а перед окном возвышался величавый Софийский собор.

Собор вошел в мое сознание настолько зримо, что даже теперь на новой благоустроенной квартире нет-нет да и мелькнет в окне белопенная София и явственно зазвучат куранты.

Время идет. Мы стареем, а Вологда молодеет. Нет уже дощатых тротуаров, кругом асфальт, вырастают новые жилые кварталы и предприятия, клубы и школы. Вологда строится.

Современная Вологда — один из крупнейших промышленных и культурных центров Севера, и не только кружева и масло, но и различные машины расходятся по белу свету с маркой — «Сделано в Вологде».

Я радуюсь этому, но сердце никогда не останется равнодушным к узорным особнякам заречья, к монолитным стенам Вологодского кремля. И вправду говорят: первое впечатление — самое яркое, первая любовь — самая сильная.



РОДНОЕ

ЭТИМ утром Вологда была пыльной, серой, скучной. И хотя начало лета, и листки на березах и тополях молодо зеленели, пыль ложилась и на них, закрывая нежные прожилки, и потому Феодосий Петрович Савинов чувствовал давящую тоску.

На площади у гостиницы «Пассаж» дежурили извозчики, их пролетки тоже пыльные. Извозчики, бородатые, в синих потертых кафтанах, сидели на козлах понуро и дремотно. По привычке, заслышав шаги прохожих, они сипели.:

— Не угодно ли, господин хороший, прокатиться?

«А куда?» — подумал Савинов и неожиданно спросил:

— До Спасо-Прилуцкого монастыря сколько возьмешь?

— С обратом или только до монастыря? — обрадовался извозчик. — Ежели с обратом, то два целкача, а в один конец — полтора рублика.

Денег у Феодосия Петровича — кот наплакал, всего двенадцать рублей, но решился:

— Ты, брат, сначала на Дмитриевскую набережную сверни.

— Как угодно вашей милости.

Савинов поместился на продырявленном сиденьи. Извозчик зачмокал:

— Эх, ми-и-ляя!

Пролетка тронулась, задребезжала.

Переехали на заречную сторону. Набережная, Дмитриевская церковь и красивое, классического стиля здание губернского правления, откуда уволили за «пасквили и крамольные стихи» канцеляриста Савинова без права в дальнейшем служить на государственной службе. И не только уволили, а и посадили «для страха» под арест, а затем отпустили. Времена все же были не крепостнические, послереформенные, хотя и подлые, но в рамках «имперского закона».

Савинов улыбнулся, вспомнил эпиграмму одного московского сатирика на имперские законы:

В России нет давно
закона,
Есть столб, а на столбе
корона,
И вот вокруг этого столба
Вся наша вертится судьба!

Судьба! Неблагостно она сложилась для Феодосия Савинова, уроженца уездного городка Тотъмы. Автор крамольной, высмеивающей губернское начальство рукописной поэмы «Савиниада», недоучившийся вологодский гимназист, он после увольнения со службы уехал в Москву. Случайные заработки в периодической печати — в «Русском обозрении» и «Русской мысли», корректорская работа обеспечения не приносили. С великим трудом изданная в Вологде книжечка стихов славы не дала. Стихи Савинова не были оригинальными. В них присутствовало гуманистическое направление в лирике, как и у многих северян, стремление к пейзажу. Он помнил вологодские просторы с удивительными белыми ночами, коротким летом и красочной осенью...

Судьба!

Судьба не только уготовила Феодосию Петровичу Савинову тяжёлую участь незаметного литератора-поденщика, нет, она одарила его, впрочем, не сразу, а потом...

А пока Феодосий Савинов приехал в Вологду отдохнуть от московской жизни, от беготни по редакциям, от типографии, где он готовил свой второй стихотворный сборник. Авось на родине перестанут мучить головная боль, нервы, бессонница, авось и муга будет благосклоннее к нему.

Пролетка выехала на длинную Архангельскую улицу. Улица в палисадах, в тополиной и черемуховой зелени, деревянные мостки, домики с мезонинами, резными наличниками, ажурными, кружевными балконами, и особенно по-вологодски выглядели старинные деревянные особнячки с оконными полукружьями.

На каланче ходил, блестя каской, пожарный, похожий снизу на сказочного витязя.

Из пекарни свеже пахло ситным хлебом с изюмом. Прохожих мало: два гарнизонных солдата в белых рубахах с красными погонами, молодой человек в черной косоворотке, в картузе с синим университетским околышем. У студента кучерявилась бородка, он посмотрел на Савинова доброжелательным, открытым взглядом.

«Какой симпатичный студент, очевидно, из ссыльных», — решил Савинов.

Тюрьма. Монументальная, каменная. У ее закрытых ворот будка часового. Несколько женщин в платочках, в руках узелки — передача.

Мимо.

Дорога. С одной стороны река Вологда, с другой поля и перелески, и вдали золотятся главы монастырских церквей. Савинов знал, что название свое монастырь получил от главного Спасского собора и излучины реки. До чего ж привлекательны его оригинальные и удивительно стройные башни! Крепкие стены с выступающими за ними крестами, крышами и зеленью. В 1812 году в соборе сохранялись сокровища, вывезенные из Московского Кремля и Сергиевской лавры, а на кровле собора в память этого события надпись:

Безбедно бог меня в сей
лютый год хранил,
Москве рассеянной
прибежищем я был!

Знаменит монастырь и именем своего основателя игумена Дмитрия Прилуцкого, кума великого князя Дмитрия Донского.

На кладбище монастыря похоронен Константин Николаевич Батюшков. Савинов любил батюшковские стихи и посвятил одно из своих его памяти. Теперь, войдя в монастырь, он склонился перед мраморным памятником на могиле поэта.

Тишина. Припомнились стихи Батюшкова из «Беседки муз»:

Пускай и в сединах,
но с доброю душой,
Беспечен, как дитя всегда
беспечных граций,
Он некогда придет
вздохнуть в тени густой
Своих черемух и акаций.

— А где у меня черемухи и акации? Где? — горько подумал Феодосий Петрович.

— Слушай, дядя, подвези еще за село...

— Можно! Подкиньте четвертак!

И опять дорога. И что за величественное зрелище! Поля, рощи и над ними бездонное, прозрачное, голубое небо.

— Подожди меня, братец.

— Подождать можно. Лошадку напою, подкормлю, да и сам маленько у реки посижу.

Савинов почти побежал по узкой меже.

Почти побежал, задыхаясь и плача: «Экие нервы дурацкие, экие нервы смешные», — побежал, вбирая аромат трав, впитывая во все свои поры живительный воздух родины, безмерную, неистовую вологодскую красоту.

На небе откуда-то выплыли легкие облака, и ему показалось, что в роще защелкал соловей. Защелкал или нет? Но ему так показалось. Может, пела его душа, но все равно хотелось думать, что — соловей.

Над нивой весело взмывали — то вверх, то вниз — жаворонки, удивительные, невесомые.

Феодосий Петрович остановился и окинул благодарным взором еще раз окружающее. Понял, что это хвала жизни, хвала родине и что не надо ему своих акаций и черемух, когда все это, на что он смотрит, принадлежит России. И это крепко и на всегда.

Приехав в Вологду, Савинов вечером написал одно стихотворение, и это одно стихотворение было тем взлетом, что оставляет неизгладимый след.

Так судьба одарила бедного вологодского поэта, одарила по-своему щедро...

Стихотворение вошло во второй сборник Савинова под названием «Родное» (1899), а известно как «Родина»...

Затем наступили сумерки. О них не хочется много писать. Да и что писать? Не весело писать. Психиатрическая больница в Кувшинове, а потом беспросветная нужда и смерть в Вологде.

Это было в разгар первой мировой войны, в 1915 году.

Прошли десятилетия после смерти Феодосия Савинова, а он все живет и будет жить в своем Одном стихотворении, ставшем песнью, и не просто песнью, а — народной, то есть самой близкой и сердечной. Да и кто из русских не знает ее?

Слыши пенье жаворонка,
Слыши трели соловья,
Это русская сторонка,
Это Родина моя...
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля,
Это русское раздолье,
Это русская земля!



ВЗЛЕТ МОЖАЙСКОГО

I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Начало тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. На улицах гололед. Из парадного подъезда пятиэтажного дома, что на углу Невского и Литейного проспектов, вышел пожилой, стройный, представительный морской офицер с густыми русыми бакенбардами, в черной шинели с золотыми погонами капитана первого ранга.

Завидев моряка, к нему подъехал извозчик.

— Куда прикажете, ваше благородие? — и хотя офицеру идти было недалеко, он сел в санки: не-

удобно все-таки солидному человеку являться в Главный штаб пешком.

Гололед. Приземистая лошадка спотыкается. Возница нахлестывает свою поилицу и кормилицу.

— Ничего, братец, не торопись, пожалей скотину, — говорит седок, — поспеем, тут ведь рядом.

Александр Федорович Можайский едет в Главный штаб, где особая комиссия рассматривала проект его изобретения — чертежи летательного аппарата.

Идея Можайского — создать летательный аппарат тяжелее воздуха появилась у него в связи с долголетними наблюдениями над полетом чаек и окрепла в вологодской усадьбе.

Вологодская усадьба!

Александр Федорович закрывает глаза — и яркие воспоминания мгновенно возникают в его памяти.

Север. Он любил север с детства *. Ведь с семилетнего возраста жил в Архангельске. Там в порту служил отец. Затем Питер, Морской кадетский корпус, потом плаванье по северным морям, знаменитое путешествие на фрегате «Диана» вокруг света к берегам Японии, которое он запечатлев в акварелях, затем временный уход на гражданскую деятельность — помощником мирового посредника в Вологодской губернии.

В 1861 году он женился на чудесной умной девушке. Она напоминала ему Лизу Калитину из модного тогда романа Тургенева «Дворянское гнездо». Звали ее Люба Кузьмина, и лет ей было всего восемнадцать.

* А. Ф. Можайский родился 9 (21) марта 1825 г. в г. Роченсальме Выборгской губернии.

Он был вдвое старше жены, но разница в годах не мешала им жить хорошо, дружно. В маленькой усадьбе Котельниково, под Вологдой, в поместительном деревянном доме, расположенному в тенистом парке с прудами, где так хорошо под шум деревьев думалось, прошло несколько лет.

В парке были голуби и много других птиц, и это давало ему возможность изучать строение крыльев, их размах, летательные способности, вес. В Котельникове он сконструировал несколько огромных воздушных змеев для полета и подъема тяжестей.

Здесь в усадьбе у Можайского родилось двое сыновей. И вдруг горе, большое, непоправимое — Любовь Дмитриевна после рождения младшего сына тяжело заболела и скончалась двадцати одного года.

Он долго и безутешно страдал, не находил себе места, и только маленькие дети и работа несколько притупляли сердечную боль. Хорошо, что мать жены приняла на себя заботу о внуках. А сам Александр Федорович усиленно занимался проектом своего изобретения.

Затем опять несчастье: брат, живущий на Украине, при смерти. Можайский уезжает туда, чтобы помочь брату наладить хозяйство.

Там, в усадьбе села Вороновица (Винницкая обл.), он осуществил планы, которые вынашивал в вологодской деревне. На тележке, запряженной тройкой лошадей, на привязанном (хорошо рассчитанном математически), буксируемом большом воздушном змее он совершил полет, который позднее повторил под Петербургом.

«Кронштадтский вестник» сообщал, что капитан первого ранга А. Ф. Можайский на воздушном змее два раза поднимался в воздух и летал с комфортом.

Сколько терпения и сметки понадобилось ему, чтобы создать летающую модель самолета, имевшую три воздушных винта, вращающихся от часовой пружинки. Крылья своего воздушного аппарата он сконструировал неподвижными. В этом ему помогли опубликованные в журнале опыты академика М. А. Рыкачева, определившего подъемную силу винта.

Александр Федорович переезжает в столицу. Полеты модели в Петербургском манеже имели большой успех. Модель поднималась в воздух и летала отлично. Маленький игрушечный самолетик мог нести на себе даже офицерский кортик.

Можайский едет в Главный штаб. Это совсем недалеко. Но воспоминания опережают расстояние. Они моментальны, ясны, незабываемы, таково уж свойство человеческой памяти.

Он едет по улицам императорской столицы, мимо величественных дворцов, мимо холодных зданий министерств и департаментов, где за казенными бумагами и циркулярами не видят России, ее будущего, ее народа. Там только низкопоклонство перед заграничными авторитетами, там боязнь нового и непонятного.

Капитан первого ранга Можайский для господ министров и директоров департаментов беспокойный человек, «надеяливый» человек, бедный человек, несмотря на свои ордена Владимира и Станислава. Ведь он сейчас не служит на флоте, а получает пенсию, смешную урезанную пенсию — сто семьдесят рублей в год. И это отец семейства, у которого описывают вологодскую усадебку, где он жил с Любью, где мечтал и работал. Даже начальник Главного штаба посочувствовал ему и сообщил письменно его

превосходительству военному министру о том, что у капитана Александра Можайского «Небольшое имение, принадлежавшее его детям, назначено уже к продаже с публичных торгов, следствием чего будет окончательное разорение всей семьи». И министр распорядился выделить денежное пособие. Ах, если бы не друзья, а они были, если бы не поддержка таких ученых, как Дмитрий Иванович Менделеев, если бы не вера в нужность для Родины его изобретения — разве бы он выдержал? Вот теперь на Балканах идет кровавая война, славяне восстали против многовекового турецкого гнета. Разве не пригодилась бы тут летательная машина? Разве он старается для своего обогащения? Ведь он последние крохи тратит на чертежи, на летающие модели.

Наконец приехали.

Запаренная лошадка остановилась у Главного штаба. Важный усатый швейцар, разукрашенный галунами, снял с Александра Федоровича шинель.

Капитан первого ранга стал подниматься по широкой лестнице навстречу своей судьбе.

II

В большом зале у длинного стола, покрытого зеленым сукном, — военные инженеры с густыми эполетами на парадных сюртуках и несколько профессоров в черных костюмах.

Можайского встретили с подчеркнутым вниманием и вежливыми улыбками, к нему быстро подошел бородатый профессор Менделеев. Он искренне обнял капитана.

— Поздравляю. Я и коллега Чебышев в восторге от вашего обстоятельного проекта. Мы, члены ко-

миссии, одобрили вашу смелую мысль о летательном аппарате и ходатайствуем перед правительством об отпуске вам, уважаемый Александр Федорович, нужных сумм для продолжения вашей работы.

Его поздравляли, пожимали руки, желали удачи, говорили о приоритете русской науки. И, как всегда, вспоминали великого северянина Михаилу Ломоносова, его слова:

«Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать».

Можайский взволнованно, молча, кланялся.

Казна отпустила три тысячи рублей. Мало, по все же для начала и это хорошо.

Но у Александра Федоровича нашлись недруги: представители иностранных фирм и тупоумные царские чиновники, все те, кто не хотел, кому было не выгодно, чтобы изобретение русского моряка увидело свет.

Для уточнения «неясностей» создавались другие комиссии без участия Менделеева и сочувствующих Можайскому ученых. Эти комиссии возглавлял генерал-инженер Паукер — преподаватель Николаевской инженерной академии. Они начисто, эти генералы с нерусскими фамилиями (в комиссию вошли еще генерал Герн и полковник Вальберг), отвергли проект Можайского. Они плевали на его модели, которые летали и о которых писали специалисты, они издевательски предлагали выдающемуся ученому моряку заняться проектом аппарата с подвижными (макательными) крыльями.

Можайский продолжал работать над системой двигателей, проектировал усиление мощностей своего самолета.

Чтобы существовать и помогать семье, пришлось снова поступить на службу — преподавать в Морском кадетском корпусе.

И наконец 3 ноября 1881 года наступило знаменательное событие в истории отечественного воздухоплавания.

Александр Федорович Можайский получил от Департамента торговли и мануфактур Российской империи патент, в котором официально утверждалось авторство его на изобретенный им летательный аппарат. Самолет Можайского имел все основные части современных машин: корпус, крылья, оперение, силовую установку, шасси. Установить на самолете двигатель внутреннего сгорания не удалось. Они были несовершенны и работали на нефти, поэтому изобретатель применил взамен двигателя паровую машину в пятьдесят лошадиных сил.

В 1884 году под Петербургом, на месте, где теперь станция Можайская, на взлетном поле был испытан в присутствии военных чинов и инженеров первый на нашей планете самолет с человеком на борту. Он поднялся над полем и немного пролетел.

Можайский стоял в окружении друзей и на глазах у него блестели слезы. Им в этот день был сделан дорогой подарок Родине.

Ободренный успехом, Можайский хотел усовершенствовать самолет и обратился снова к правительству с просьбой о выделении необходимой суммы для постройки нового, более мощного аппарата. Ему пренебрежительно отказали.

Уволенный от службы контрадмирал в отставке Александр Можайский скончался в Петербурге от воспаления легких (1890) и похоронен на Смоленском кладбище. Похороны были скромные. Газета

«Новое время» напечатала петитом несколько слов о смерти Можайского, не упомянув даже о его изобретении.

А через тринадцать лет газеты оповестили о сенсации: американцы братья Вильбур и Орвиль Райт построили аэроплан, совершивший подъем в воздух продолжительностью в 59 секунд. Этот аппарат был по конструкции намного хуже, чем у Можайского. Его называли летающей этажеркой. Он не выдерживал ветра, не мог маневрировать. Братья продали свое изобретение французскому военному министерству за полмиллиона франков. Их превозносили, о них гремели газетные литавры и в Европе и в России, где дельцы и чиновники забыли о загубленном ими великим русским ученом-авиаконструкторе.

III

Сейчас о Можайском вспоминают с любовью и уважением. Там, где он учился и преподавал — в здании Морского кадетского корпуса — ныне расположено Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Ленинградская военно-инженерная академия носит имя Можайского, и у здания ее установлен бронзовый бюст изобретателя. Один из океанских теплоходов называется «Александр Можайский». На доме, где он жил в Ленинграде, установлена мемориальная доска. Его имя носят школы в селе Спасском Вологодского района, а на Украине в селе Вороновица Винницкой области в 1971 г. открыт народный музей.

Одна из новых вологодских улиц называется улицей Можайского.

Об отважном моряке и ученом написано немало книг.

В Вологодском краеведческом музее имеется коллекция экспонатов, принадлежавших А. Ф. Можайскому, — книги, чертежный стол, столярный верстак, японские и китайские вазы и т. д.

Ленинградский военно-морской музей выполнил для Вологды модель самолета Можайского в одну двадцатую натуральной величины.

А за Вологдой, в селе Котельниково — ныне Можайском, в тени деревьев стоит двухэтажный деревянный дом, на котором мраморная доска золотыми буквами напоминает:

«Здесь в 1862—1869 годах жил изобретатель первого в мире самолета Александр Федорович Можайский».



ВОЛОГОДСКИЙ УЧЕНИК ДОСТОЕВСКОГО

ПО ЛИГОВКЕ — улице, населенной мелким чиновничим и мастеровым людом, шел болезненного вида юноша в очках, начинающий литератор из Вологды Александр Васильевич Круглов. Одет он был неважно, даже бедно, а погода стояла ненастная, с ветром, и вся улица с грязной мостовой, со старыми, облупленными и потерявшими первоначальный цвет домами, с извозчичими клячами, с запахом тухлятины из подворотен казалась страшной, почти нереальной, почти выдуманной, как серый ночной сон.

Круглов шел медленно, оглядываясь по сторонам, ища очень нужный, чрезвычайно важный дом, в котором жил Федор Михайлович Достоевский. От одного этого имени у юноши кружилась голова. Ну как он войдет к нему, создателю «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Идиота», как он войдет в кабинет Достоевского и спросит о своем романе?

О, этот роман! Тщательно перебеленный и вытиганный в большую тетрадь роман, которым он, двадцати летний недоучившийся гимназист, прослуживший два месяца в Казенной палате, решал вопросы семейного счастья, супружеской верности, религии и морали. Роман! А что в сущности у него, Александра Круглова, сына смотрителя народных училищ, у которого есть хорошая мама и сестра гимназистка, что у него, собственно говоря, есть за душой? Три-четыре очерка, стихи, одобренные прекрасными и отзывчивыми, жившими в Вологодской ссылке писателями-публицистами Петром Лавровичем Лавровым и Николаем Васильевичем Шелгуновым.

О чем он писал? О вологодской провинциальной жизни, о бедных кружевницах, обираемых всякими пройдохами и торговцами. Есть у него исторический очерк о великом поморе — Ломоносове, любимый очерк, в нем он показал, как трудно, невыносимо трудно было бороться этому великанию со всякого рода академическими бездарностями, для которых личное было дороже общего и которые жили и мыслили по рутине.

Очерк, написанный год назад в Вологде, он привез в Петербург для какого-либо иллюстрированного издания. Но роман? Боже мой, как осмелился послать эту рукопись, и кому? Правда, его предостере-

гали друзья, но совсем с другой стороны: «Как тебе не стыдно связываться с Достоевским, автором «Бесов», редактором монархического еженедельника князя Мещерского «Гражданин»? Не продался ли Достоевский за чечевичную похлебку? Что общего между бывшим петрашевцем и политическим каторжником и сиятельный князем? И зачем Круглову, поощренному самим Лавровым, слушаться советов редактора «Гражданина»? Так ему говорили. А он верил Достоевскому. И пусть по неизвестным ему, Круглову, причинам, может, из материальных соображений (Достоевский плохо был обеспечен), он редактирует этот журнал, который и читают лишь потому, что там открылся новый раздел «Дневник писателя», ведущийся Достоевским.

И как отличался этот «Дневник» от всего пошлого тона журнала, сколько в нем таланта, сколько поднято наболевших тем! Можно иногда не соглашаться с высказанными писателем мнениями, но они не оставляют тебя равнодушным.

Мимо прошло трое подгулявших бородачей мастеровых. Они занимали весь тротуар и весело переговаривались. При виде Круглова один сказал: «Парень-то из студентов, в очках». А другой сожалеюще: «Пускай живет, сердечный, видать по всему — чахоточный».

Да, конечно, похож на чахоточного, это они правильно, но все ерунда, главное в том, что ему скажет Федор Михайлович.

Вот грязный Гусев переулок. Здесь, на углу Лиговки, дом, в котором проживает Достоевский. Дом похож на те дома, где живут герои писателя, такой же обреченный и мрачный. Круглов входит в довольно чистую парадную. Она даже не плохая, эта

парадная лестница, лестница для чиновников, приказчиков, журналистов. На третьем этаже Александр Васильевич дергает ручку звонка. Колокольчик звонит тихо, не так порывисто, как у бедняги Раскольникова.

Дверь открывает девушка.

— Дома Федор Михайлович?

— Они дома, а барыня ушедши. Проходите.

Обстановка квартиры показалась даже непрятательному Круглову скромной. Комнаты небольшие. Мебель простая. Из кабинета слышался разговор.

— Вы уж постараитесь, Михаил Александрович, чтобы задержки не получилось, номер должен выйти в срок.

— Не беспокойтесь, Федор Михайлович, все будет в аккурат.

В дверях показался прилично одетый господин, держа под мышкой конторский портфель. «Вы к редактору? — спросил: — Как Ваша фамилия? Сейчас скажу Федору Михайловичу».

Послышался голос Достоевского: «Просите, пусть войдет».

Кабинет писателя был прост. Не верилось даже, что он здесь проводил почти все свое время.

Диван, крытый красноватым репсом, на котором он спал, письменный стол, свечи, старая чернильница, жестянка с табаком и гильзами, несколько газет, книг. Подале стол поменьше. На нем рукописи, папки. Шкафчик с книгами. Окно выходило на восток. На стенах в рамках фотографии близких и самого хозяина. У письменного стола простое деревянное кресло и рядом стул для посетителей.

Достоевский, худощавый, среднего роста, с

очень подвижным, болезненным лицом, встретил Круглова в дверях. Из-под сдвинутых бровей на юношу устремились серые глаза, они смотрели в лицо посетителя пристально и испытующе.

— Да, да, Круглов Александр Васильевич из Вологды. Помню. Читал вашу рукопись.

Он порылся в папках и вынул толстую тетрадь: «Ваша? Садитесь, пожалуйста».

— Моя, Федор Михайлович.

Федор Михайлович тонкими пальцами погладил русую бородку:

— Да, да, прочел ваш роман. — Он удариł тетрадкой о стол, — прочел, — и заговорил сердито, торопливо: — Вы, сударь, еще слишком молоды, слишком мало жили, чтобы дерзать, именно дерзать рассуждать о таком большом и сложнейшем предмете.

Достоевский нервно прошелся по кабинету:

— Широко, сударь, шагаете, широко, а сил и уменья нет.

Круглов сидел на краешке стула, и ему казалось, что писатель сейчас же, сию же минуту с пощечиной выбросит его.

А Достоевский вскрикивал:

— Нужна известная глубина, откуда она у вас может быть? И такие положения берете! Самые драматические! Психология матери, потерявшей дочь, мужа, которому изменила жена — и при каких обстоятельствах? Странные обстоятельства, невероятные обстоятельства. А религия? Что можете вы в свои двадцать лет понимать, что? И зачем берете аристократический быт? Знаете ли вы его? Аристократов видели настоящих?

— Нет, — прошептал Круглов.

— Ну вот, а пишете. Лучше расскажите о себе Круглов рассказал сбивчиво, неясно.

— Город у вас хороший? — вдруг спросил Достоевский.

— Кому как, Федор Михайлович. Мне и родной Устюг и Вологда нравятся, не жизнь в них — жизнь в них скучная, а сами города: храмы, старина, деревянные особняки, зелени много, воздух не петербургский.

— Да, это вроде Старой Руссы. Говорите, были репетитором, чиновником, но этого мало. Конечно, нельзя все перепробовать на себе, но нужна опытность литературная и умение предугадывать. Нужно иметь силу особую — писательскую, ее надо развивать постоянным чтением, думой, работой, да-с:

Достоевский подошел к Круглову и взял его за борт сюртука, в голосе появились добрые проникновенные нотки, и глаза смотрели теперь на Круглова ободряюще.

— Не падайте духом, сударь, кислиться глупо; я ведь ради вашей пользы говорил. В вас есть дарование, и художник из вас выйдет, но дарование надо шлифовать, читать много, учиться, наблюдать жизнь, не боясь грязи и вони, писатель — это врач, а не кисейная барышня. Не сочинять надо, а жизнь уметь изображать, слышите?

И Федор Михайлович ткнул указательным пальцем в грудь Круглова.

И еще многое доброго и вместе с тем нужного сказал писатель юноше.

Провожая Круглова, заботливо спросил:

— Не сердитесь?

— Нет, — искренне ответил тот, — благодарен.

— А роман бросьте, пусть валяется, вырастете,

перечтете и сами посмеетесь. Умру я, а вы вспомните и скажете: прав был Достоевский. Главное — дерзайте, пишите, пишите, толк из вас получится, верьте мне, не бросайте пера.

Он крепко пожал руку Круглову и уже в пролет лестницы крикнул:

— Обязательно пишите!

Окрыленный, вышел Круглов из подъезда. Шел, не замечая улиц, шел, как пьяный, и в его памяти до колоссальных размеров вырастал образ Достоевского и слышались его слова «пишите, пишите». Он видел руки писателя, руки, на которых были когда-то кандалы, руки, пророчески поднимаемые вверх: «У вас есть дарование, вы можете писать».

«Могу, могу, Федор Михайлович, — говорил про себя Круглов, — и буду, пусть мое дарование и небольшое, пусть, а писать буду и знать, что недаром живу на земле, недаром».

Спускались сумерки. Зажглись фонари. В сыром петербургском тумане двигались пешеходы, из дверей трактира «Распивочно и на вынос» слышались разухабистые звуки гармошки и хриплый голос залихватски сипел:

Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда.

— А я не погиб, — думал радостно Круглов, — не погиб.

На Невском — он, сам не замечая, вышел на сияющий огнями, окнами ресторанов, с выкриками лихачей проспект — его обгоняли, сталкивались с ним уже не мастеровые, а изящные дамы в шляпках со спущенными вуалями, офицеры, бренчавшие саблями и шпорами. У ресторанов стояли богатые

кареты и кучера, как истуканы, восседали на козлах, а молодой писатель Александр Круглов шел по Невскому и ничего не слышал, кроме слов Достоевского.

* * *

Судьба литератора бросала Александра Васильевича по разным дорогам. Служил библиотекарем в большой петербургской библиотеке, сотрудничал в газетах и журналах, разъезжал по белу свету и по собственной охоте, и по поручению редакции. Живал и в родных вологодских местах. Особенно полюбились ему обширные и мало обжитые уезды Зырянского края, входившего в Вологодскую губернию.

Никогда в любом путешествии он не забывал Достоевского. Во всем, что писал Круглов, чувствовался глубокий след, оставленный в его сознании великим писателем.

Вот он рассказывает о жилище коми-землепашца, «лесовика» ... «Керка (изба) Пэдера отличалась массивностью; видно, что край лесной; все пристройки сосновые; из ели даже сараи строились редко».

Круглова гостеприимно угощали и вкусными ячменными лепешками, намазанными маслом, и рыбным пирогом с запеченной в него целой рыбой без внутренностей, но в чешуе. Подавали и «десерт»: брюкву и пареную репу, облитую маслом и сметаной. Казалось бы, все хорошо: есть крепкая изба, пироги, овощи, сметана, но так только казалось, благополучие было мнимое.

Круглов похвалил хлеб. Землепашец ответил: «Слава создателю, без «качи» обойдемся ныне».

И тогда верный ученик Достоевского, человек, сострадающий народу, бросает страшную реплику:

«Ох, эта кача! Кача — хлеб из пихтовой и осиновой коры с небольшим добавлением муки, — кача-хлеб, кача-каша. Я раз только немного съел качи и думал, что схвачу воспаление в кишках».

И Круглов с волнением заканчивает: «А ее едят, едят многие! И мрут же!»

Да, вот оно страшное: «И мрут же».

И пейзаж Зырянского края окрашивается в тонна тоски — ведь здесь и природа богатая, и зверя много, а едят качу. Здесь за зверя скучники дают гроши. В город коми-зырянину трудно добраться. Край огромен:

«...Мы ехали уже третий день, а осень, несносная, неприветливая, царила вокруг.

Третий раз спустились на землю холодные, пасмурные сумерки, даже на прогалинах все предметы, перемешиваясь между собой, сливались во что-то безразлично тусклое. Мелкий дождь, называемый по-зырянски «чичер», так и сеял, прохватывая сыростью тело и наводя тоску на душу».

Не в художественности и не в степени таланта тут дело, главное — в интонации, близкой Достоевскому. Если Достоевский заканчивает свою великую книгу о каторге словами о силе русского человека, то Круглов пишет о силе коми народа и желает, чтобы эта сила, «одаренная богато природою и способная к просвещению, являлась и силою интеллектуальною на арене общерусского развития». («Лесные люди», 2-е издание, 1899 г., Москва).

С глубокой благодарностью отмечает Круглов тех этнографов и литераторов, кто интересовался судьбой коми народа, называя среди первых имя

И. А. Куратова, уроженца Зырянского края, воспитанника Вологодской семинарии, классика коми литературы.

В другом сборнике «В северных лесах» Круглов, опять-таки под влиянием творчества Достоевского, дает повесть о неразделенной любви хороших молодых людей, по ситуации весьма схожей с «Униженными и оскорбленными».

* * *

Много написал за свою сравнительно долгую жизнь Александр Васильевич и для взрослых, и для детей: романы, повести, рассказы, очерки, стихотворения. Его книги «Из золотого детства», «Иван Иванович и компания» вышли отдельными изданиями в Париже.

Под конец жизни А. В. Круглов в Москве издавал и редактировал небольшой иллюстрированный журнал «Светоч» со славянофильским уклоном. В журнале был «Дневник писателя», но то, что у Достоевского получалось злободневно, затрагивало сердце, у Круглова выглядело устаревшим, хотя в ряде статей видно гуманистическое отношение автора к тем людям, «кто своим трудом добывает хлеб», и к молодежи.

«...Молодежь — надежда каждой страны, потому что это будущие работники, будущие строители общественно-государственной жизни...» — писал Александр Васильевич в одном из своих «Дневников».

В воспоминаниях, опубликованных в «Историческом вестнике», Круглов рассказал о своих знакомствах с многими писателями и журналистами,

в том числе с Н. В. Шелгуновым, П. Л. Лавровым, Ф. М. Достоевским, Н. А. Некрасовым, А. П. Чеховым и другими.

А с Достоевским Круглову пришлось дважды встретиться незадолго до смерти Федора Михайловича.

Однажды Александр Васильевич шел со знакомым студентом по Невскому. В это время Достоевский проезжал на извозчике, и студент, почтительно сняв картуз, низко поклонился, раньше, чем это сделал Круглов.

— Вы знакомы с Федором Михайловичем? — спросил Круглов.

Тот ответил веско:

— Лично не знаком, но когда я был в Москве, то при виде памятника Пушкину обнажил голову, Достоевский для меня — великий писатель, слава России, вот я этой славе и поклонился, так же, как и Пушкину.

Круглов был тронут: «Экий вы славный, — сказал он, дружески беря его под локоть, — как это хорошо!».

И еще — получил письмо от знакомой курсистки из Вологды. Она делилась с земляком мыслями о литературе: «Больше всех почитаю Достоевского, он для меня последние годы не только автор, а и учитель».

И это порадовало Александра Васильевича.

В тысяча восемьсот восемидесятом году Круглов сотрудничал в газете «Россия», которую издавал уральский магнат Демидов, заведовал «журнальным обозрением», подписываясь псевдонимом «Русский».

Там однажды он встретил Федора Михайловича, выходящего из кабинета редактора:

— Вы не узнаете меня, Федор Михайлович?

Достоевский остановился, пристально разглядывая его.

— Я вас видел, видел где-то.

— Несколько лет назад я послал вам из Вологды рукопись романа, Круглов.

Достоевский оживился.

— А-а, голубчик, очень рад, читал вашего «Бездипломного», хороший рассказ, хороший. А где тот роман?

— Уничтожил.

Писатель одобрительно кивнул: «Ну вот, пишите рассказы, а роман потом, если понадобится, понимаете, если понадобится. А что здесь делаете?»

— Пишу журнальные обзоры.

Достоевский положил ему руку на плечо: «Только не увлекайтесь, голубчик, не будьте разносителем, не топчите других, любите тех, кто честно работает».

Вид у Федора Михайловича был усталый, он заскалялся и долго не мог успокоиться.

Больше Круглов не увидел его живым. Вскоре тот, кого он любил безгранично, скончался, полный творческих замыслов. Это произошло в 8 часов 38 минут вечера в среду 28 января 1881 года в доме на Кузнецном переулке.

Тысячи студентов, курсисток, учащихся других учебных заведений пришли проводить великого художника слова. Погребальной церемонии руководил сотоварищ Достоевского по Инженерному училищу Дмитрий Васильевич Григорович. Писатели, художники-передвижники, юристы, ученыe, санов-

ники, военные и просто почитатели таланта покойного шли нескончаемой вереницей к Александро-Невской лавре, где рядом с надгробием над В. А. Жуковским было приготовлено место и для Достоевского...

Круглов долго не мог прийти в себя от потери учителя. Ему трудно писать. Он заболел. Памятью о Достоевском явилась составленная им книга «Достоевский для детей школьного возраста» (Избранные сочинения под редакцией А. В. Круглова с биографическим очерком и снимками с дома и школы им. Достоевского в Старой Руссе. СПБ, 1897 г.).

Часто посещал Круглов и Старую Руссу, о которой написал очерк и сделал описание дома Достоевского.

Скончался Александр Васильевич под Москвой в октябре 1915 года в возрасте 62 лет.

Имя его великого учителя популярно на всей планете. Здесь же только хочется напомнить и об одном из его преданных и благодарных учеников—писателе-вологжанине.

Еще при жизни А. В. Круглова о нем сообщалось в энциклопедии Брокгауза и Эфрана, а в издании «Галерея русских писателей и художников» (СПБ, 1901) — рядом с портретами В. М. Гаршина, А. П. Чехова, А. М. Горького и других был и портрет А. В. Круглова. С портрета смотрел типичный русский интеллигент с небольшой бородкой, в очках, добрый и отзывчивый, отдавший свой талант народу, писатель, любивший повторять чудесное изречение коми народа: «Человек в одиночестве — полчеловека».



КУРСИСТКА

КОГДА Федор Михайлович собирался выйти из квартиры и, уже одетый в пальто, нервно шарил по карманам, ища перчатки, раздался звонок. Звонок был нерешительный, сомневающийся. Дернулся, замолк, потом снова трепенулся.

Писатель открыл дверь. Перед ним стояла невысокая худенькая девушка, очень юная, лет девятнадцати. На ней была жакетка, отделанная стареньkim мехом коричневого цвета. Шапочка из того же меха. «Очевидно, все это переделано из материинской шубы», — решил он.

— Здесь живет Федор Михайлович Достоевский? — спросила робко девушка.

— Да. Чем могу служить?

Слабый румянец окрасил ее щеки.

— Вы, кажется, уходите? Я пришла не во время.

— Да, я по одному неотложному, именно не отложному делу должен...

— Ах, как жаль, — сказала девушка все так же робко. — Я не располагаю, у меня часы считанные, и притом я живу в другом конце города, а мне завтра уезжать. Неудобно получилось...

— Да-с, занят, — упрямо проговорил Федор Михайлович, избегая смотреть на ее лицо («чтобы не расчувствоваться, а уж если расчувствуюсь, обязательно останусь дома»).

Достоевский думал, что девушка уйдет, но она стояла в дверях, загораживая собою выход.

— Мне, право, некогда, — сказал Достоевский извиняющимся голосом.

— Но и мне некогда, я к вам больше ведь не смогу зайти, — она говорила тихо. — И я прошу вас остаться, у меня к вам серьезный, очень серьезный разговор. Я, прежде чем к вам идти, долго сомневалась — надо ли? Я, знаете ли, робела, даже и сейчас неловко чувствую себя, но раз надо... — она не докончила свою мысль, вскинула на Достоевского глаза. Серые, открытые, они прямо заглянули Достоевскому в душу.

И писатель понял, что девушка пришла по важному делу, и он не имеет права уйти.

— Ну что ж, — сказал он, сразу успокоившись, — прошу.

Посторонился, пропустил девушку: «Раздеться можно здесь — вот вешалка. На улице, кажется, ветreno?».

— Кажется, — сказала она, — я не обратила внимания. И что с того, что ветreno, это не суть важно.

Она сняла жакетку. В коричневом платье с белым воротничком девушка казалась еще тоньше.

«Прямо бестелесная», — подумал писатель.

В кабинете Достоевский предложил ей стул, а сам остался стоять, потирая руки.

— Ну-с, я слушаю.

Девушка сидела выпрямившись, следя за каждым движением Достоевского.

— Вы бы сели, — наконец проговорила она, — мне тогда легче будет говорить, мне обязательно нужно ваше лицо видеть.

Достоевский улыбнулся, сел, попросил разрешения закурить.

— Я, когда шла к вам, подготовила целую речь, и замечательно убедительно получалось, а теперь мне трудно, но все равно... Вы, Федор Михайлович, очевидно, по моему виду догадались, что я курсистка. Учусь второй год, сама я вологодская, там окончила гимназию. Я ваши произведения все прочитала и даже «Бесы».

Глаза у девушки сверкнули:

— Много там у вас страшного, непонятного. И «Дневник писателя» читаю. Знаете, я бы вовсе его и не читала, но там есть мысли очень глубокие... И многое кривое!

Достоевский вздрогнул, жадно затянулся дымом, закашлялся.

— Я знаю, вам больно, Федор Михайлович, слу-

шать, но я иначе говорить не могу, я бы себя человеком не считала, если об этом умолчала. Вы написали «Бедных людей», «Неточку Незванову», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание». Какие это вещи! Вот я смотрю на вас, на живого Достоевского, у вас такой больной, измученный вид и лоб, как у Сократа, и думаю: сколько он знает, сколько он предвидит и сколько он страдает!

— Сколько он страдает! — вдруг проговорил Достоевский и вскочил.

Девушка испуганно на него взглянула:

— Я вас напугал, великодушно простите! — он снова сел. — Прошу вас, говорите, говорите. Вы очень хорошо говорите.

— Я вот завтра в одиннадцать часов дня уезжаю, нас шесть курсисток уезжает, мы записались в санитарный отряд. Нелегко было туда записаться, знакомый военный врач нас с собой берет. Мне, конечно, труднее будет, потому что я филологичка, а те медицине учились.

Достоевский невольно посмотрел на ее руки. Это были бледные, тонкие руки с синими жилками и длинными пальцами. Они как-то жалостливо лежали на девичьих коленях.

— Последнюю неделю я ходила в Мариинскую общину, училась перевязки делать, это, конечно, немного, это очень немного, Федор Михайлович, но там, где не поможет знание, поможет любовь.

— Вы опять прекрасное слово сказали — любовь! Но как вот вы, такая слабая, такая беззащитная, будете там, на Балканах? Я знаю эти лазареты, я знаю раны, ужасные раны бывают, кровоточащие, загрязненные, кровь и страдания. — До-

стоевский закрыл глаза, — это не под силу девушке, это подвиг для женщины, которая страдала, которая в этом самом тяжелом труде хочет очиститься. Ну, а вы?

— Что я? — спросила девушка. — Что я, Федор Михайлович? И почему вы так говорите? Очищение, подвиг! Вы что ж думаете, что только Соня Мармеладова, что только униженные и оскорбленные способны на подвиг?

— Да нет, не то, не то, совсем не то, вы меня не так поняли, не так меня поняли, сударыня.

— Нет, Федор Михайлович, я вас прошу, я все вам расскажу, зачем я пришла. Дайте мне выразить свою идею, а потом вы сразу мне и ответите, хорошо?

— Хорошо, — сказал Достоевский, — я готов вас слушать, я готов вас слушать, сколько вам будет угодно.

Он снова закурил.

— Я всегда любила нашу литературу. Любила ее за правду жизни, за честность мысли. Я самая требовательная, вы не смотрите, что я такая на вид робкая, слабая, это только видимость, у меня душа упрямая.

Достоевский закивал головой, ему понравилось определение «упрямая душа».

— Мой отец священником был, добрый, хороший и слaboхарактерный, он, вы знаете, не из таких попов, — покраснела она, — которые только и знают, что церковь да требы. Нет, он у меня светские журналы и книги читал, его вольнодумцем у

нас звали. Я у него единственная дочка. Меня отец не в епархиальное училище отдал (не любил он поповен), а в гимназию. Я по вашему лицу, Федор Михайлович, вижу, что вам не нравится, когда обсуждают духовенство. А вот я и папа (она сверкнула глазами), мы не только обсуждали, но и осуждали. В гимназии у нас новая начальница, она из немецких баронесс, родственница губернатора, все ко мне придирилась, меня невзлюбила, а законоучитель отец Михаил, так тот называл меня сорной травой. Вот, говорит, выросла в Верхограде духовном сорная трава. А тут еще, — девушка запнулась, но затем быстро оправилась, — в Вологду ссылочный студент приехал, его исключили из Московского университета. Стал он ходить к нам. Мы с ним рассуждали о боге, о государстве, о Белинском, о Чернышевском, о Толстом и о вас, Федор Михайлович. Он мне дал прочитать Эрнеста Ренана «Жизнь Христа». Но мама не захотела, чтобы он к нам ходил, так ему и отказали от дома. А потом его по распоряжению Третьего отделения отправили в далекий городок Тотьму. А какой это был человек, Федор Михайлович!

А в позапрошлом году на водосвятии мороз был злющий, отец простудился и помер. Остались мы с мамой вдвоем. Стал за меня свататься чиновник один из губернского правления, вдовец, но богатый и еще молодой. Я отказалась, и тут на меня все стали смотреть, как на какую-то отчужденную: гордячка, мол, гимназистка. Тогда я сюда уехала учиться. Только маму жалко, она там одна среди зверей. Ах, какие есть звери в провинции, Федор Михайлович, какие звери! Здесь в Петербурге хороших людей узнала и много книг прочитала. Я ведь

все свободное время в публичной библиотеке сижу, читаю.

Достоевский не выдержал. На девушки смотрело теперь совсем другое лицо — холодное и презрительное.

— А вы (простите, что я вас перебиваю, мне это важно для дальнейшего разговора, вы не можете понять, насколько важно) к этим хорошим книгам атеистические относите? Такие, где материа над духом торжествует? И еще вопросик: Христос есть богочеловек, спаситель мира или, по-вашему, просто ренановский проповедник? Не бог, а самый земной человек, такой, как мы с вами, ну, может быть, чуточку лучше меня?

Девушка видела, как он взмахнул рукой, словно бы отгоняя страшные видения, вскочил со стула и прошелся по комнате.

— Вы, по всей видимости, честная девушка, на подвиг, ну, если не на подвиг (это слово вам не нравится), на нравственные муки идете — помогать ближнему своему... А как же помогать ближнему без заповеди Христовой! Нет любви большей, чем за других жизнь свою отдать, а? Да отвечайте же! — почти крикнул он.

— Значит, вы от меня, Федор Михайлович, ответа ждете? Вы? К слову которого прислушиваются тысячи людей? Значит, вам нечего нам сказать? Вы сами, значит, слабый человек!

Она тоже говорила в каком-то томительном волнении. И уже сидела перед ним не робкая девушка в коричневом гимназическом платьице с беленьким воротничком, а неумолимая, враждебная Достоевскому и всем его воззрениям.

Достоевский, ничего не отвечая, шагал по кабинету.

— Ну хорошо, я вам скажу, Федор Михайлович. — Да, я не верю в бога, и я, конечно, не могу считать Христа за сына божьего. И Библия, и Евангелие — книги для меня не божественные, а нравственные и исторические. Для меня божественное заключается не во всепрощении, не в молитве, не в вере в загробную жизнь. И не думайте, что это от того, что я молодая, что мне жить долго... Так Писемский думает. Он моей подруге сказал: «Вы, милая барышня, в бога не верите потому, что вам умирать не скоро, а как до моих лет доживете, в день по сто поклонов будете отбивать!» Нет, Федор Михайлович, совсем не потому... Для меня божественное — в человеке, в его идеалах, в его сознании долга перед обществом, в долгे перед народом. А это, по-моему, у вас напрасно, когда кто-нибудь из ваших героев веру в бога потеряет, обязательно считает для себя все дозволенным, как будто вера в христианскую добродетель — узда на человеке! Если я иду помогать раненым солдатам, то это делаю не ради спасения своей души, чтобы получить возмещение в жизни вечной, а просто для того, чтобы помочь, чтоб показать, что русская женщина не раба, а свободный человек...

Она покраснела.

— Ах, опять не то, опять не то я сказала... Я пришла не для того, чтоб красоваться перед вами... Вот видите, Федор Михайлович, какая я еще глупая — пришла к знаменитому писателю, разбередила его, вы волнуетесь; пришла какие-то вопросы решать, а получилось совсем не так! Никто так, как вы, не умеет жалеть униженного, подметить

в человеке все его духовные переживания. И женщины вы уважаете, и сами пострадали на каторге, а с другой стороны, в вас какой-то двойник живет, холодный и христианский, и не такой христианский, как Мышкин, или как в «Подростке» старик, а злой, непримиримый, как Никон! Вы на Победоносцева похожи, вот вы какой, вот вы какой! — на глазах у нее были слезы. — Вы в ваше царство небесное людей за шиворот хотите тащить... — и осеклась...

— Замолчите! — хрипело, тяжело дыша, прошептал Достоевский и больно схватил ее за плечо. — Самонадеянная и глупая девчонка! Как вы, вы (он это подчеркнул с болью и презрением) можете судить меня! Как можете?

Она видела, что он сейчас сделает что-нибудь ужасное, и ей стало жалко писателя, и жгучий стыд за последние слова охватил ее.

— Федор Михайлович, — сказала она робко, — Федор Михайлович, я не то хотела сказать, я это в запальчивости, я ведь к вам с чистым сердцем пришла! Простите!

Неимоверным усилием воли Достоевский переборол свой гнев.

— Желаю вам, — сказал он каким-то деревянным голосом, — счастливого пути.

Она встала, неловко поклонилась и, сказав еще:

— Простите! — вышла из кабинета.

На вокзале Николаевской железной дороги в грязном зале третьего класса было чрезвычайно сумрачно.

Зал был заполнен серыми солдатскими шинелями, походными котомками, жестяными чайниками. Стоял непрекращающийся гул от разговоров. Все скамьи были заняты, и многие сидели просто на сундучках посреди зала.

Около окна, почти у самой входной двери, сгруппировались отъезжающие сестры милосердия и студенты-фельдшеры. Сестры в черных жакетах, в черных косынках, а их белые повязки с красным крестом на рукавах как бы освещали этот сумрачный зал. На студентах были солдатские шинели с погонами вольноопределяющихся.

— Ну что, Катя, были у Достоевского? — спросил маленькую хрупкую девушку высокий студент с черной бородкой и усталым желчным лицом. — Что вам сказал сей новоявленный мессия?

— Ну и была, и говорила, — строптиво ответила девушка. — И не понимаю, Михайлов, почему у вас такой иронический тон?

— А вы как прикажете, уважаемая Катя, говорить о Достоевском, о писателе, который растоптал все свои первоначальные идеалы и стал проповедником православия?

Катя передернула худеньким плечом. На ее лице выразилось негодование.

— И совсем не остроумно, Михайлов, говорите заученные фразы, а не хотите проникнуть в глубину писательской души! Это несправедливо и, прощите меня, нечестно!

— Наша Катенька опять находится в ажиотаже! — засмеялся коренастый блондин.

— А по-моему, господа, Достоевский очень талантливый художник, психологический, но больной, плутает, как в египетском лабиринте.

Высокая девушка со смуглым лицом, слушавшая до сих пор молча, воскликнула:

— Ах, господи, до чего же все это надоело, едем мы с вами, дорогие коллеги, на Балканы, впереди столько интересного и нужного дела, а мы только портим себе кровь спорами, а для чего — не понимаю.

— Значит, у вас, Танечка, — сказал Михайлов, — некоторое отсутствие общественных идеалов; для вас все равно, что Достоевский, что Чернышевский...

Таня покраснела:

— Ну и хорошо, очень довольна и по крайней мере лучше буду заниматься делом, чем переливанием из пустого в порожнее, а что касается моих идеалов, то не вам, Михайлов, о них судить! Правильно сказала Катя, что вы ко всему подходите с готовыми мнениями.

— Извините, — Михайлов поклонился, — извините, милостивая государыня, что я вас оскорбил, я совершенно упустил из вида изречение: «Спорить с женщиной — все равно, что черпать воду решетом».

Мимо прошел солидный станционный жандарм, гремя шпорами и саблею, остановился посреди зала, расправил седые усы и зычным, хрипловатым басом провозгласил:

— Прошу приготовиться к отправке, воинский эшелон отходит со второй платформы через полчаса, — затем воззрился на группу медицинского персонала и более мягко закончил: — А вы, господа вольноопределяющиеся и сестрицы, прошли бы в залу второго класса, там не в пример удобнее! Чего зам среди солдатни толкаться.

— А уж это, господин жандарм, — прокричал в ответ так, чтоб слышали, Михайлов, — а уж это нам позвольте знать! Нам здесь, среди солдатни, как вы высокомерно выражаетесь, гораздо приятнее, чем среди благородной публики.

— Чего? — спросил жандарм и выпучил на Михайлова глаза, — чего вы это такое говорите, господин вольноопределяющийся? Я вам деликатное предложение делаю, а вы собачитесь...

Жандарм неодобрительно оглядел молодежь и такой же важной походкой, как вошел, направился к выходу на платформу.

Неожиданно рявкнул паровозный гудок. Солдаты и провожающие их женщины в платочках стали тесниться к выходу.

— Ну, коллеги, — сказал веселый студент, — нам пора...

— Да подождите еще, — послышалось в ответ, — успеем, публика выйдет, свободнее станет...

В дверях показалась странная фигура. Длинное пальто, черная шляпа плотно надвинута на лоб, так плотно, что виднелись только брови и глубоко впавшие, сверкающие лихорадочным блеском глаза. Человек остановился близ дверей и стал беспокойно осматривать публику.

И вдруг Катя, быстро сорвавшись со своего места, побежала к нему.

— Федор Михайлович! — закричала она таким звонким, пронзительным голосом, что он заглушил даже говор толпы. — Федор Михайлович, я так и думала, что вы придетете!

Достоевский сжал ее маленькую руку..

— Думали? Думали и ждали?

— Ну, конечно, Федор Михайлович, я страсть как довольна, вас видеть... Да что же мы стоим? Идемте, идемте! — она схватила его за рукав пальто и потащила к студенческой группе. — Господа! Сам Федор Михайлович Достоевский пришел сюда!.. А вы, Михайлов, говорили... Ах вы, книжный человек! Умный вы и сердечный, только на себя напускаете излишнюю ученость... Это очень плохо — напускать на себя излишнюю ученость... — Катя всплеснула руками. — Боже мой, какую я ересь говорю, совсем потерялась от радости!

И так она хороша была в своем оживлении, что все невольно залюбовались ею.

— Ах ты, Катенька, Катенька, великолепная душа моя! — и Таня, подбежав, обняла Катю и стала целовать ее в раскрасневшиеся щеки.

Все заулыбались, и всем сделалось как-то легко, и не стало натянутости. Молодые люди почтительно пожимали руку писателю.

— Да я что ж, — и лицо Михайлова вдруг осветилось улыбкой и сделалось совсем непохожим на прежнее, ироническое, — это вы правильно, Катя, насчет учености. А что Федор Михайлович пришел, я доволен... Доволен. «Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание» и «Подросток» не только читаю, но и считаю. Мы все, представители русской молодежи, гордимся русской литературой и хотим видеть в ней отражение своих идеалов и надежд.

Зал уже почти опустел. В открытые двери с платформы доносились звуки военного оркестра.

К ним подбежал молодой военный врач.

— Коллеги! — закричал он фальцетом, — что же вы? Через пять минут отправление. С ног сбил-

ся, вас разыскивая... Главный врач велел немедленно идти к вагонам... — Он махнул рукой и побежал на платформу.

— Ну, так будьте здоровы, Федор Михайлович, — Михайлов протянул ему руку.

— Будьте здоровы, Федор Михайлович, желаем вам всего лучшего, — веселый голубоглазый студент дружески потряс руку Достоевскому.

— Да, да, — Достоевский улыбнулся, отвечая на рукопожатия. — Спасибо, господа, я не забуду ваших слов, но прошу помнить, никогда не хотел оскорбить русскую молодежь, всегда ее уважал, а ежели... Ну, это долгая история насчет «Бесов», это, когда приедете, поговорим. А отвечу я вам новым романом, — он остановился и пристально посмотрел в лицо Кате, — совсем другим.

В медный колокол ударили два раза. Загудел паровоз. Студенты и сестры подхватили чемоданы.

— До свидания, Федор Михайлович, до свидания.

Достоевский взял руку Кати. Его опять умилила хрупкая, тонкая, с синими прожилками рука, она была совершенно детской. Он взял эту руку и бережно, как прикладывался к чудотворной иконе, поцеловал ее.

Вечером при свете свечей в своем кабинете Достоевский сделал черновую запись:

«Главное и самое спасительное обновление русского общества выпадает, бесспорно, на долю русской женщины. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. В русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение».



«ДАРОВОЕ»

УБРАТА Анны Григорьевны Ивана Григорьевича Сниткина в Курской губернии было имение Малый Прикол. Имение благоустроенное, с лесной дачей, со своим молочным хозяйством. Иван Григорьевич Сниткин, воспитанник Сельскохозяйственной академии, женился на богатой девушке, был умным и рачительным агрономом, много тратил времени и сил на хозяйство, и оно процветало.

Достоевские арендовали у него на летний сезон усадьбу, и Анна Григорьевна жила там с детьми.

Сам Федор Михайлович должен был приехать несколько позднее, его задерживала сдача в печать очередного номера «Дневника».

Но перед тем, как направиться к семейству, Достоевский вдруг пожелал «вернуться в детство», сделать крюк и из Москвы выехать хотя бы на два дня (ведь это же можно? Ведь это же важное и необходимо дело?) в родительскую деревеньку, в «Даровое».

Там теперь сестрица Верочка. Там теперь тишина полей и неторопливая жизнь.

И вот Достоевский делает пересадку и в дребезжащем, грязном, каком-то разболтанном железнодорожном вагоне не может дождаться той драгоценной минуты, когда увидит знакомые места.

Со станции Федор Михайлович едет на тряской таратайке по ухабистой дороге в «Даровое».

Низкое небо.

Низкая равнина.

Низкая лошаденка.

— Ну, как жизнь-то при воле? Лучше стало? — спрашивает Достоевский возницу. Пожилой крестьянин, почти ему ровесник, в синей пестрядинной рубахе, с коричневым морщинистым лицом тянет:

— Звестное дело, конечно, дышать-то можно.— Он искоса смотрит на писателя двойственным взглядом. Федор Михайлович читает в нем любопытство и осторожность: кто ты, мол, таков, не из начальства ли?

— Да ты, дядя, не бойся, — говорит Достоевский, — я не по казенному делу, а сам от себя. Тут у меня сестра, помещица Вера Михайловна Иванова.

— А, — мужик качает головой, — стало быть, вы, барин, ихний братец. — Всматривается пристально в Достоевского. — Не Федор ли Михайлович?

— Так, так, — оживляется Достоевский. — Узнал, брат!

— Постарел ты, батюшка, — добродушно вставляет возница, — до чего же ты постарел. Видать, жисть-то тебя, сердешного, терла!

— Да, брат, терла порядочно, живого места не оставила.

— Видать, барин. А я вас знал дитем еще. Я в вашей Черемошне частенько бывал. Михайлу Андреевича помню, суровый был барин, да. — И замолчал.

И снова низкое небо, низкая равнина, низкая лошаденка. И все же мило Федору Михайловичу все это. До слез мило.

Родина!

Мимо — лесок, чахлый осинник, три березки, березки с предчувствием ранней осени, скоро начнут желтеть. Вон — овраг, а там и деревушка. Несколько лип, над зеленоватым прудом склоненные ракиты. Избы — боже мой, что за избы, почерневшие, с покосившимися оконцами, с побуревшей соломой на крышах. За деревней полоски крестьянской земли — низкорослый хлеб.

— Не дает господь урожая, — указывает кнутовищем на поля возница, — сами гляньте... дожди замучили, без хлеба насидимся. А тут еще теперя война с туркой, что и говорить-то, трудно мужику.

Ах этот припев: «без хлеба насидимся», «трудно мужику» — как он знаком Федору Михайловичу!

В разговорах отца с матерью, в письмах сестры, в беседах с землевладельцами — всегда жалобы на дождь или на засуху.

Немец умен, у немца всякие фосфаты, орошение, машины. Он видел, проезжая по Германии, немецкие, аккуратно разграфленные, похожие друг на друга фермы с вымощенными двориками, кирпичными домиками. Да, еще долго надо будет России поднимать урожайность земли, но он, Достоевский, верит, что вот этому русскому землепашцу, вот этой необъятной Родине суждено сказать европейскому миру спасительное и великое слово.

Проглянуло солнце сквозь серую пелену и осветило равнину, овраг, деревушку.

Сестра обрадовалась приезду Федора Михайловича. После обязательных родственных вежливостей за чаем начались жалобы: хозяйство необходимо, неурожай, долги, болезни, ремонт надо делать.

Федор Михайлович слушал, пил чай, а самому хотелось скорее в деревню, посмотреть места своего детства.. Вера Михайловна расспрашивала об Анне Григорьевне, о литературных заработках.

— Ты теперь знаменитость, Федя, ты теперь на нас, бедных, захудальных, и смотреть, поди, не захочешь, с министрами и князьями на приятельскую ногу. Спасибо Анне Григорьевне милой, что братца к сестре отпустила родное гнездо проведать. Можно надеяться, что братец пожаловал недельки на две, только не знаю я, чем такого желанного гостя потчевать, поди, Анна Григорьевна избаловала вкусным столом, а у нас кухня деревенская, простая, ты уж, Феденька, не обессудь...

В окна убогой зальцы заглянуло солнце, и се-
рая скатерть с нарядным узором и красной каймой

показалась знакомой с детства — перенестись бы туда хоть на несколько часов! Зачем нудные сестрические слова? Для чего она их говорит? Неужели эта пожилая, полнеющая женщина — та милая Верочка, дорогая сестрица?

Он улыбается воспоминаниям.

— Пожалуйста, не беспокойся, Вера, я тебя не стесню. Пожалуйста!

А за окном —
скудные поля,
низкая равнина,
березки,
пруд, покрытый зеленью,
бедная деревенька — сельцо «Даровое».
Родина.

П р и м е ч а н и е: опубликованные в сборнике новеллы о Достоевском входят в цикл «Последние годы Федора Достоевского». Часть из цикла. См. в журнале «Север», № 4, 1971.



ЦАРЬ ДАВИД И ПРОШКА

КОГДА нет дома барина, Прошка ложится в прихожей на сундук, подкладывает под голову соломенную, в лоскутной наволочке подушку и то скливо думает о вологодском селе Алексеевском. Мысли развертываются серой нитью, и от них тяжеleет голова.

Прошка крестится в темный угол и шепчет молитву деда Степана, наиболее запомнившуюся с детства: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!»

И представляется Прошке царь Давид высоким белобородым стариком с ласковыми телячими глазами; на голове золотая корона, на ней золотой петушок с серебряными перьями, похожий на тех прничных петушков, каких продают бойкие мещане на Сенном рынке.

И говорит царь Давид Прошке: «Ты, Прохор, не унывай. Будь кротким, и я тебе помогу! Ты только исполняй все и почаще молись! — и гладит царь Прошку по льняным волосам. — Так-то, милок!» Ну совсем, как дедка Степан!

Просит мальчик Давида: «Покажь мне Алексеевское!» — «Ладно! — соглашается добрый царь и берет Прошку за руку. — Полетим!»

И над Санкт-Петербургом, над Зимним дворцом, где живет император Николай Павлович, над всеми домами и казармами, над будками и столбами с двуглавым орлом, над всеми богатыми усадьбами и бедными избами летят царь Давид и Прохор.

— Вот она, Россия-то, — говорит царь Давид, — вот она, матушка!

— Была матушкой, стала мачехой! — по-взрослому отвечает Прошка.

— Помолчь! — сердится Давид. — Помолчь. Не твоего умишка дело!

— А ты глянь-ко, батюшка! — настаивает мальчик. — Ты, батюшка, со мной пройдись.

Прохор тянет Давида за рукав парчовой одежды, и они идут по Алексеевскому. Незаметно входят в избы мужицкие, покрытые взъерошенной, выцветшей соломой, и видят все одну и ту же картину: тесная, перекосившаяся изба, маленькие, слепые до жути оконца, на стенах тараканы, зыбка с плачущим ребенком, мокрый, наслеженный пол,

а на печи стонет старая бабка, выпрашивая смерти у бога.

— Во, — плачет Прошка, — во, батюшка царь Давид, кака жизнь крепостная!

А ребенок в зыбке плачет, плачет и делается царь все тоныше, тоныше и исчезает.

В двери стучат сапогами. Слышен сердитый звон шпор.

«Никак, барин!»

Прошка кубарем скатывается с сундука, хватает подсвечник с тусклом мерцающим огоньком и бежит отворять.

Входит барин, гвардейский поручик, высокий, статный, на щеках от мороза румянец, треуголка сползла на левую сторону, а сам барин шатается.

— Спал, чертенок? — сбрасывает на руки Прошки офицерскую шинель.

— Вздремнул малость... — отвечает Прошка.

Поручик, не глядя, дает ему подзатыльник: «А где Никита?» Никита — стариk, барский камердинер, все свободное время проводит в дворнице. Там собирается прислуга и живет барский кучер Ефим.

— Ушли к Ефиму Ивановичу.

— Камин истопил?

Прошка об этом позабыл, но знает, что пьяный поручик ничего не заметит:

— Истопил, Алексей Александрович! Как же! Когда вы ушли, я и истопил! — и придерживая барина за талию, ведет его в опочивальню, сажает на кровать, кряхтя, снимает тяжелые ботфорты и, пожелав доброй ночи, уходит, захватив с собой господскую одежду. Поручик, свалившись на постель,

вдруг кричит: «Сволочи Бенкендорф и Фон-Фок!* Армию испакостили».

Прошка снова взбирается на сундук, тычет лицо в подушку и со злобой шепчет: «Вот те и помяни царя Давида со всей кротостью».

* * *

Барон Фон-Губер посмотрел на Алексея Левашева:

— Я буду просить вас, господин поручик, повторять ваши суть оскорбительный слова на мой счет!

Алексей Александрович с презрением оглядел коротконогую жирную фигуру барона и запальчиво ответил:

— Барон! Я повторяю, что подобные вам офицеры армию российскую доносами унижают. На кого доносите? На лучших камрадов! Стыдитесь! Рапортуйте в отставку!

— Подтверждаю! — загрохотал басом майор Рощин. — Подтверждаю! Эй, подать сюда дюжину шампаней!

— Правильно. Ура поручику! виват! — подняли бокалы офицеры, собравшиеся на квартире у артиста итальянца Паоло Каруччио.

— Позвольте! — побледнел от злости Фон-Губер. — Позвольте! Это есть оскорбление старшего чином. Я буду завтра подавать рапорт о вашей крамоле графу Бенкендорф. — Он поспешно встал из-за стола.

* Бенкендорф — граф, генерал-адъютант, шеф жандармов. Фон-Фок — директор полиции и помощник Бенкендорфа.

Алексей Александрович схватил барона за грудь, сорвал эполет и кулаком сильно ударили трижды по лицу.

— Вот тебе, мерзавец!

Барон зашатался и выплюнул изо рта кровь. Прижав к носу платок, выбежал из комнаты.

Ночью поручика Алексея Левашева жандармы отвезли на гауптвахту.

А через неделю его под конвоем вывели на плац, где выстроился батальон, в котором он служил.

Поставили перед строем, и тогда забили барабаны. Из казармы в сопровождении полкового командира вышел сам Александр Христофорович Бенкендорф, приземистый, лицо одутловатое, с рыжими баками, глаза голубые, выпуклые. В руке у графа казенная бумага. Идет граф, подпрыгивает, шпажонка о ботфорты бьется. Завидев начальство, полк взял «на караул».

Бенкендорф провозгласил: «Господин Левашев! Вы недостойны офицерского патента! Его императорское величество государь Николай Павлович указал подвергнуть вас ссылке, разжаловать в мещане, а усадьбу вашу, согласно решению военно-судной коллегии, передать барону Фон-Губеру — верному слуге империи Российской».

Барабанная дробь. Над склоненной головой поручика, улыбаясь, граф Бенкендорф переломил щлагу. Офицеры и солдаты стояли в молчании из уважения и к дисциплине, и к судьбе поручика.

Вечером того же дня отправили Алексея Левашева на перекладных с двумя жандармами в далекую тобольскую ссылку. Прошке разрешили шубу принести да баул дорожный с хлебом, мясом и фляжкой вина. Государь-император соблаговолил

назначить ссыльному мещанину Левашову для срочного содержания по семи рублей в месяц.

Прощаясь с Прошкой, барин прослезился:

— Прости меня, Прохор, ежели я тебе вихры трепал. Не поминай лихом! — и сунул ему в руку два больших тяжелых серебряных целковых.

Утром на квартиру Левашева приехал Фон-Губер, подавший в отставку, переписал всю обстановку и обратился милостиво к Никите, Ефиму и Прошке:

— Теперь я у вас господин! Вы должны быть мне верный. — И приказал Ефиму готовить лошадей, чтобы ехать в село Алексеевское.

Хоть и пожалел Прошка поручика, хоть и не понравился новый барин, но на сердце была радость: «Едем к тятке и мамке, и целковые есть на гостинцы!»

И когда пришел в сновидении Давид, Прошка ему сообщил: «Ну, прощевай, кроткий царь! Еду я поутру в Алексеевское... Два года тятки не видал. Спозаранок за гостинцами добегаю. А ты смотри не забывай. Летай до нас. Ты вить не на лошадях ездишь!»

И ответил Давид: «Ладно, милой! Не сумляйся!»

И мотал Давид белоснежной бородой, и смотрел телячьими, ласковыми глазами на Прошку. Тряслась на кудрях его корона, и распускал на короне серебряные крылья золотой петушок.

* * *

Алексеевское считалось богатым поместьем. Крепостных — пятьсот ревизских душ. Господа имели на откупе винокурни и ямские станции.

И все это досталось Фон-Губеру.

После сретенья, когда отошли морозы, в воздухе незримо повеяло весной. Есть такие дни в феврале — еще упруг снег под ногами, но уже в голубизне неба, в галочьем гомоне, в воробышкой суетне чувствуется приближение тепла.

В один из таких дней, утром, к барскому дому подъехал знакомый всем дворовым господский крытый возок. Ржанье взмыленных коней, звонкий колокольчик разбудили дворню, не предупрежденную о приезде барина. Из господской конторы бежал запыхавшийся бурмистр Яков Петров, и его бритые щеки тряслись, как кисель. Ключница Меланья суетилась на кухне, где поваренок Петрушка расстапливал плиту.

Лакеи торопливо напяливали на грязные рубахи ливреи с дворянскими гербовыми пуговицами и, сняв валенки, натягивали на отвыкшие от кожаной обуви ноги чулки и ботинки с медными пряжками.

В барской опочивальне, в зале и столовой пахло сосновой смолой и березой от принесенных дров. К барскому дому торопились из церкви священник отец Михаил с дьячком служить благодарственный молебен о благополучном прибытии помещика. Но вместо ожидаемого Алексея Александровича прошел на крыльце, не здороваясь с челядью, толстый чванный немец в шубе, а с ним губернский советник для ввода нового помещика во владение усадьбой.

Для крепостных с этого дня началась пущая мука. Завел Фон-Губер новые порядки: бурмистра Якова Петровича заменил приехавшим из города немцем-управляющим, повара за подгорелый пирог на конюшню отправил, казачка Григория за плохо

вычищенные сапоги приказал, ровно пса, на привязь взять и чтобы лаял по-собачьи. По селу да ближним деревням только и разговоров, что, пожалуй, хуже нового помещика вряд ли по всей округе сыщешь.

* * *

Прошка отпросился у камердинера Никиты к себе домой.

Никита отпускать боялся — вдруг барону понадобится невзначай, но мальчик так просил, что старик сжался: «Только ты, Прохор, смотри, через день наутро приходи, не то вихры натреплю!»

Прошка собрал гостицы петербургские: отцу — шапку и полштофа вина, матери — платок, а сестренке Глаше — козловые полусапожки, по фунту вяземских пряников и баранок. Сам нарядился в красную рубаху и плисовые шаровары — подарок поручика, подпоясался ремнем с набором и начистил до яркого блеска сапоги. Волосы припомадил гарным маслом, увязал гостицы в платок и таким вышел фертом во двор, что лакей дядя Фрол одобрительно чмокнул:

— Ай да племяш!

Гордый своим видом, Прохор отправился к барским конюшням, около которых ютились пристройка и три горенки, где жили два конюха — дедка Степан и Прошкин отец Иван Степаныч.

Жили тесно и бедно. У дедки Степана семейства — бабка, дочка-вдова, четверо внучат. Он занимал две каморки, а у Ивана — трое, и ему полагалась одна.

Иван Степаныч — сорокалетний мужик с черными, пронзительными глазами — был хмур и нераз-

говорчив. Дворни сторонился и лишь к одним лошадям чувствовал приязнь.

Жена его Матрена, скотница, в своем Иване души не чаяла, понимала мужа с полуслова и ценила в нем ум и то, что Иван Степанович, что было редкостью, знал грамоту и ни разу ее не ударили.

Глаша, десятилетняя девочка, помогала по хозяйству, летом и осенью собирала грибы и ягоды для господского стола и полола огород.

Прошку сестра любила без памяти, и сейчас, заметив в оконце степенную фигуру брата, взвизгнула, и босиком выскочила на крыльцо.

— Проша, братец! — радостно повисла на его плече.

— Со свиданием! — Прохор поцеловал Глашу и заметил укоризненно: — Эка дура ты, Глаха, ноги то застудишь!

— Даром, Прошка. Обойдется! — Глаша принялась рассказывать о том, что завтра праздник, младшая сестра отца, тетка Груня, выходит замуж за Митю Селифанова и что батя хвалился взять на свадебный поезд тройку коней из барской конюшни.

— Батя-то дома? — спросил брат.

— Вышедши из конюшни. Я за ним сбегаю. Ты, Проша, в избу ступай.

— Валенки-то обуй! — проговорил Прошка, и они вошли в свою каморку.

Паренек положил на лавку узелок и стал ожидать отца. Вскоре тот пришел. Глаза Ивана Степаныча смеялись, а лицо было серьезным. Принял подарки: «Спасибо, Прохор!»

Глаша вскипятила в чугунке воду. Пили кипяток с сухой малиной, с пряниками. Мать месила

тесто для пирога к вечеру, за стеной плакал ребёнок, и в каморке кислый запах хлеба и овчины. Все знакомое, как два года тому назад, и Прошке казалось, что он никогда не уезжал и что Санкт-Петербург — сон, такой же, как и кроткий царь Давид.

Вечером пришли родные из Алексеевского, спрашивали Прошку о новом барине-немце, почему Алексей Александрович немилость царскую заслужил?

Прошка рассказал все, что знал: как барин на бил немца и как граф, главный генерал, поручика в Сибирь угнал.

На другой день Иван Степаныч, договорившись с кучером, вывел на околицу тройку коней, запряг их. Девушки заплели в гривы лошадям ленты, и все поехали на село к жениху тетки Груни, а оттуда к невесте.

Ехали поездом: несколько розвальней, над каждой дугой колокольчик. Погода стояла солнечная, снег искрился, воздух был чистый, грудь дышала легко, Прошке было весело.

— Нравится? — спросила Глаша брата.

Они сидели в широких пошевнях, на мягкому хрустящем сене, покрытом цветным рядном. Тройка гладких, барских коней, как перышко, несла пошевни.

— Ладно! — ответил Прошка. — Хорошо!

Люди, казалось, забыли на несколько часов тягость подневольной жизни.

У невесты обедали. Тетя Груня — девятнадцатилетняя красивая девушка с пунцовыми щеками — сидела, закрывши лицо платком, рядом с женихом под образами.

По старому обычаю подружки ее вынесли тоненькую елочку, украшенную лентами и огарками церковных свечей, а на деревянном блюде косу, сплетенную из льна.

Девушки, пересмеиваясь, встали в углу и запели звонкими чистыми голосами:

Пораздайся, народ, дева красота идет,
Не сама она идет, красна девица несет
По полику по тесовому,
По столикам по дубовым,
Ко скатертям браным,
Ко гостям званым.

Потом девушки подошли к столу, и одна из них взяла поднос и, протянув жениху, запела:

Молодой князь, догадайся,
За кармашечек-д принимайся,
Тебя матушка соряжала,
Соряжала, наказала:
Ты пойдешь, сын, на свадьбу,
Будут девицы опевати,
Чтобы было чем дарити.

Жених со вздохом вынул из кармана кисет и положил гривну. Девушка поклонилась ему в пояс, подошла с песней к тысячекому.

После обеда поехали всем поездом в церковь, а затем к жениху на свадебный пир.

Иван Степаныч прошелся с Матреной в русской, и все удивлялись, как они могут так согласно, хорошо плясать.

* * *

Утром Прошке надо было идти на господский двор. Он встал в шесть, грустно простился с Глашей — мать и отец уже были на работе — и вышел из каморки.

Никита встретил Прошку сердито:

— Свадьбы спрятываете без барского разрешения! Тройку барскую взяли! Ишь-ты! А барон ругался, пошел на конюшню, а тройки нет. Где, мол, кони? А дедка Степан спужался да грит: «Иван мой-де Груньюк замуж выдает, он и взял!» Барин в раже: «По чьему велению?..» И зачалась канитель! Тьфу! — старик сплюнул на паркет.

— Возьми мелу, — приказал Прошке строго, — и канделябры вычисти до блеска.

А в это время в конюшне перед Иваном Степановичем стоял барон с хлыстом в руке. Губы у него дергались от злости.

— Ты, Иван, лошадей брал без разрешения?

Иван Степаныч опустил голову:

— Прости, барин! Уж очинно хотелось сестрицу по обычаям замуж выдать!

— По обычай? — протянул Фон-Губер. — Ну, я буду показывать тебе, что значит мой господский обычай. Эй! Возьмите Ивана да запрягайте его в легкий санки. Я делаю моцион на чистый воздух!

Запрягли Ивана Степаныча. Вырвался он. Насильно сладили. Сел барон в санки и погнал Ивана по тракту.

Что было на тракте — неизвестно. Глаша сказывала Прошке, что вернулся отец весь в крови, дышал тяжело, а рубаха разорвана. Сел на лавку, ударил кулаком по столу: «Проклятым во весь век быть, и в себе и в своих детях покою не знать, ежели обидчику не отомщу!»

Стал с того дня Иван Степаныч часто по вечерам из дома отлучаться.

А барин чудесил. Зверем ходил по усадьбе, и чуть что не по нему, сейчас же на конюшню посы-

лал. Только и слов: «Буду спускать шкура с каждой сволочью!»

Прошка на Фон-Губера смотрел с ненавистью: «Изничтожить бы тебя, сатану!»

Спал мальчик теперь без снов, не приходил больше к нему Давид — царь кроткий, а если бы пришел, Прошка с ним бы иначе поговорил.

...Так шла жизнь, тяжелая и подневольная, в постоянном страхе и нужде. Когда из рекрутского правления приехал чиновник сбирать воинство и лбы брить, то парни немцу-управляющему в ноги кланялись:

— Сдай нас в солдаты! Сделай божескую милость!

В некоторых хозяйствах кончился хлеб. Шестьдесят человек в Алексеевском, из них пятнадцать детей голодали. Кто мог из крестьян — помогал им, но осторожно, сам боялся оставаться без хлеба.

Старик Николай Пазухин с тремя внучками пошел к барину.

Прошка видел в окно, как по веселому мартовскому снегу семенил сгорбленный, плешивый старик в заплатанном армяке, а за ним бежало трое малолетков.

Старик подошел к господскому крыльцу и опустился на колени.

— Что за чучелы! — спросил барин Никиту.

Тот доложил.

— Голодают? — прогнусавил барон. — Не работали в пот лице! Прогони их в три шеи!

Ночью на господском дворе выли собаки. Дворовые крестились: «Быть беде!»

А утром около гумна, там, где начинался выгон, нашли детишек, повешенных на старой березе, а на

другом дереве — старика Пазухина. Детей повесил старики, а затем сам повесился.

И долго после того боялись люди ходить на гумно, а если ходили, то скопом, а не поодиночке.

Слухи об Алексеевском барине ползли по уезду цепкие и страшные.

* * *

Однажды вечером Прошка отлучился из господского дома и забежал к своим сообщить, что вскоре уезжает в город, в казенную палату с барином. Отец сидел за столом в расстегнутой рубахе. В его черных глазах блестели огоньки. Трое гостей — двое крестьян из Алексеевского и один из соседней деревушки Королево — внимательно слушали Ивана Степаныча: «Лакей Гаврила сказывал, ну ребята, пострадайте за мир, не выйдет у вас — сам сделаю. Все равно не жить нам при бароне».

Увидел отец Прошку: «Когда едете?»

Прошка ответил: «Ден через три!»

Через несколько дней уехал Фон-Губер с Никитой и Прошкой. Барин был расчетлив и на своих конях только по поместью разъезжал, а так все больше на ямских, задаром, тем более, что ямское дело было у него на откупе и десять Алексеевских парней ямщиками барщину отбывали.

Ехали ночью мимо леса. До почтовой станции осталось верст восемь, и тут раздался окрик: «Стой!» — и из лесу выскочило двое в масках.

Ямщик из Алексеевских — Федя — лошадей остановил и обернулся к барину: «Вы, ваше благородие, слазьте. Мне с вами не по пути!» — и засмеялся,

Прошка ни жив ни мертв, а Никита «Да воскреснет бог» читает.

Барон посмотрел на ямщика: «С тобой разговор буду иметь поздний!» — и выскочил из возка.

Возница усмехнулся: «Ладно, ваше благородие!» — погнал лошадей к станции, а барин с пистолетом на тракте остался и стрельбу открыл.

Хорошим он стрелком был, одного нападавшего тяжело ранил, а второй, подхватив товарища под мышки, в лес ушел.

Фон-Губер пришел на станцию через три часа. Отогрелся, выпил водки, ударил два раза кулаком по лицу Никиту: «Подлый швейн!», затем хлыстом избил Прошку, да так, что мальчик сознание потерял.

Когда кончил расправу над слугами, позвал станционного смотрителя: «Приводьте ямщика Федю!»

Смотритель испугался: «Сударь! Неужто вы гибель ему учините? Ямщик отменный!»

«Дело мое! — сказал Фон-Губер, — это есть заговор!»

Смотритель поклонился и тихонько вышел из горницы. Помещик сел на лавку, положил перед собою на стол пистолеты.

Вошел ямщик Федя, русоволос, лет двадцати двух. Вошел и остановился у дверей.

— Звать изволили? — звонко спросил.

— Сволочь! Почему лошадей гнал?

Федя взглянул на барина и все понял.

— По всей округе о тебе, ваше благородие, дурная слава идет, — сказал напрямик, — лютый зверь и то милостивее бывает!

Правдив был молодой ямщик. Поднял помещик пистолет и нацелился ему в лоб. Раздался выстрел. Ямщик так и сел на пол.

После этого ямщики со всего тракта зарок дали кончить с помещиком. А Иван Степанович, когда увидел Прошку избитого, так чуть ума не решился. Хотел до барина с топором бежать. Еле жена и Прошка удержали: «Не ходи, родимый, только себя сгубишь и нас сиротами оставишь!»

— Ну что ж, — сказал Иван Степанович, — подождем, все едино!

Приехал как-то из Вологды в Алексеевское полицмейстер, майор, по делу об убийстве ямщика и за обедом после трех бокалов токайского размякшим голосом предупредил Фон-Губера:

— На вас, уважаемый благодетель, гроза собирается. Ямщики, сукины дети, желают с вами покончить.

Барон немногого поежился:

— Я не боюсь русской смерд, господин майор! — и с этими словами кликнул Никиту и велел привести под окно двух мужиков из соседней деревни, учинивших потраву на господском поле.

Привели их под окно, и приказал барон их выпороть. Те зубами от ненависти к помещику скрежещут, но не кричат.

— Видите, майор, подчиняются швейны! В сем есть мой воспитательный образец!

Полицмейстер покачал головой:

— На вулкане, благодетель, живете! На вулкане! Прокурор уже следствие начал.

* * *

Случилась гибель Фон-Губера весной, в мае. Ехал он к богатому помещику, в соседний уезд, той же дорогой, где парни на него напали. С ним опять-таки были Никита и казачок Прошка. Ямщик, пожилой, черноволосый, сидел на облучке и заунывал:

Что за травушка, да за муравая,
Травка день растет, ночь алеется,
По чистому да по полю расстилается...

Фон-Губер слушал песню молча. Был он весь какой-то обрюзглый, и даже лицо его, обычно красное, теперь пожелтело от частой бессонницы.

А северная весна вступила в свои права. По бокам тракта стояли березки, а дальше в глубине леса зеленели кроны сосен. Крепкий запах хвои, берез и травы плыл в воздухе.

— Благодать! — сказал Никита и перекрестился. Прошка, сидя рядом с ямщиком на козлах, переживал весенний день. Вот так бы ехать все время, смотреть на лес и солнышко, слушать песню ямщика и веселый птичий щебет, ехать бы так все время и ни о чем не думать.

Ямщик оборвал свою песню:

— Сударь! Дозвольте подпругу подтянуть?

Барон в знак согласия кивнул головой. И когда коляска остановилась, из лесу выскочило человек десять. У всех на лицах рогожные маски, у всех в руках кнуты.

То ли барон смерть почуял, то ли столбняк на него нашел, только он спохватиться не успел, как его из коляски вытащили, да и уволокли вглубь леса. Коляску с лошадьми в кусты загнали и остав-

вили под присмотром одного паренька, чтобы Никита шуму не поднял.

А Прошка побежал за людьми. Побежал и у сены, на поляне, где барина судили, притулился. И то, что видел, на долгие годы запомнил. Суд над бароном был короткий, и умер господин Фон-Губер далеко не геройски. Гордый был, а здесь почувствовал ужас, ползал на карачках, просил помилованья.

Через три дня в Алексеевское понеехало начальство и полиция.

Управляющий Фон-Губера требовал у начальства именем графа Бенкendorфа — покровителя покойного помещика — жестокой расправы.

Привезли три воза березовых веток, мочили их в растворе соляном и секли беспощадно всех крепостных подряд: авось кто да проговорится!

Но так велика была ненависть к помещику, что никто и слова не проронил. Даже старик Никита и тот молчал, а ямщик, что барина вез, исчез, и никто его найти не мог, хотя управляющий обещал награду.

— Докладывал я покойнику, что злобу на него имеют, скольких он наказал! Где уж тут сыскать виновного. По мне — все виноваты... Для острястки выпороть еще по разику, и баста! — решил майор полицмейстер.

Последним из дворовых наказывали Прошку.

Два дюжих полицейских сели ему один на голову, другой на ноги, а третий принял хлестать.

Не кричал Прошка, всю руку себе искусал.

Дома забрался на полати и лег на живот рядом

с избитым отцом. И лежали так — сын и отец. Лежали молча, но в этом молчании была скрыта их ненависть, горячей волной пробегавшая по истерзанному телу.

И когда забылся беспокойным сном Прошка, в первый раз после Санкт-Петербурга прилетел к нему во сне Давид — царь кроткий. Прилетел и спросил: «Болезно тебе, родной? Ась?» Был, как всегда, царь в золотой короне, с петушком хвостатым, и глаза Давидовы кроткие смотрели по телячье: «Болезно тебе?»

И тогда сказал Прошка с сердцем и грубо: «Езжай ты от меня, кроткий, подале. Небось взять бы тебя да под лозы, псалмы не запел бы! А? Не запел бы, дедка петушиный?»

Обиделся царь, надулся и лопнул.

СОДЕРЖАНИЕ

Оловянные солдатики	3
Рассказ о Киянге	26
Любовь моя — Вологда	34
Родное	38
Взлет Можайского	44
Вологодский ученик Достоевского	53
Курсистка	66
«Даровое»	80
Царь Давид и Прошка	85

Владимир Степанович Железняк

«РОДНОЕ»

Редактор Е. Ф. Богданов

Художественный редактор В. С. Вежливцев

Технический редактор С. И. Соколова

Корректоры В. И. Пригодина, А. А. Фонтеинес

ГЕ09201. Сдано в набор I/X-1971 г. Подп. к печ. 23/XI. 1971 г.
Формат 70×108/32. Физ. печ. л. 3,25. Усл. печ. л. 4,55.
Уч.-изд. л. 4,028. Тираж 30000. Цена 13 коп. Зак. 7303.

Вологодское отделение
Северо-Западного книжного издательства
Вологда, Ветошкина, 37.

Областная типография, Вологда, Калинина, 3.